

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

11

1998

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 11(883)

Ноябрь, 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОРИЯ ИНОЗЕМЦЕВА — У меня есть молодость, вокруг про- ходит война, стихи	3
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО — Дурочка, роман-житие	9
ОЛЬГА ИВАНОВА — Чужая жизнь, стихи	74
МАКСИМ АМЕЛИН — За Сумароковым с победною оливой, стихи	78
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ — Аполлон разоблаченный, рассказ	83
ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ — Пироги остыли. Дальше школа, стихи	88
АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ — Совпис, стихи	90
ДМИТРИЙ ПОЛИЩУК — Любовные метры, стихи	91
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть первая (1974 — 1978). Про- должение	93

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА — Болезнь	154
-----------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛ. НОВИКОВ — Бедный эрос. Неподъемная тема современной словесности	180
ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — Что бредится и что сбудется	192

По ходу текста

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Наивный читатель и образованный автор	198
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Мария Ремизова. Невыносимая хрупкость бытия	206
Ирина Роднянская. Здесь и там	209
Николай Мельников. Злодеяния Джона Апдайка	216
Алексей Зверев. Пуговицы для сюртуков	219
Юрий Кублановский. О публицистических мыслях Льва Тихомирова	223
В. К. Авантюристы как зеркало эпохи	227

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Владимир Абашев. — I. И. Гурвич. Русская лирика XX века. Рубежи художественного мышления. II. София Парнок. Собрание стихотворений. III. М. Цветаева. Неизданное. Сводные тетради	230
Юлия Скородумова. — Татьяна Вольтская. Тень. Стихотворения	236
Олег Ларин. — В. С. Елистратов. Язык старой Москвы. Лингвоэнциклопедический словарь	237

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	240
Периодика (составитель Андрей Василевский)	244
SUMMARY	256

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ НОВЫЙ РОМАН АНТОНА УТКИНА «САМОУЧКИ»

Первый роман двадцатидевятилетнего прозаика «Хоровод» («Новый мир», 1996, № 9, 10, 11), действие которого происходит в сороковые годы XIX века, вызвал многочисленные отклики в прессе и вошел в шорт-лист литературной премии Букера 1997 года. Новое произведение Антона Уткина повествует о современной России.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3331 экземпляр журнала «Новый мир».

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН



УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

Очерки изгнания

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(1974 — 1978)

Глава 2

ХИЩНИКИ И ЛОПУХИ

Во всей нашей в те годы борьбе как же было нам не знать, не помнить, что Запад существует! Да каждый день мы в Советском Союзе это ощущали, и борьба наша вызывала гулкое эхо на Западе и тем получала опору в западном общественном мнении. А вместе с тем — реальные законы Свободного Мира нами не ощущались. Зналось, конечно, что вся атмосфера его, как она из западного радио вырисовывалась, другая, не наша. Но это общее понимание — даже на иностранных корреспондентов в Москве распространялось нами ограничено: уже они казались обязаны разделять наш суровый воздух, и забывали мы, что Москва для них — весьма престижное и выгодное место службы, которое легко и потерять. Те же иностранцы, кто втягивались как наши секретные сообщники (близкие «невидимки»), уже воспринимались нами как обданные русским ветрожом, такие же непременно стойкие и такие же непременно верные. (Да вот, замечательно: такими они себя и проявляли: они переняли эту атмосферу безнаградской жертвенности.)

Но и просто вообще *знать* всегда мало для человека. А начнёшь проводить через опыт, через поведение — и наошибаешься, и наошибёшься.

Вся эта гекатомба самоотверженности наших «невидимок», возвысившая мои книги и выступления до зренья и слуха всего мира, так что они появлялись в полную громкость, неостановимо для Лубянки и Старой площади, — в реальной жизни не могла выситься легендарно-чистой, так, чтоб не тронула её коррозия корысти. И коррозия эта пришла в наше дело, и несколько раз, но из мира, устроенного по другим жизненным законам. Могла б и в пригнётном мире прилипнуть, но удивляться надо: нет. В этом, говорят, безнадёжно испорченном обществе и народе — тогда не втиснулись между нами корысть, предательство, осквернение.

Мы — бились насмерть, мы изнемогали под каменным истуканом Советов, с Запада нёсся слитный шум одобрения мне, — и оттуда же тянулись

ухватчивые руки, как бы от книг моих и имени поживиться, а там пропади и книги эти, и весь наш бой.

И без этой стороны дела осталась бы неполна картина.

Всегда правильно толковала «Ева» (Н. И. Столярова), даже впервые открыла мне: что главная сложность не в том, как перетолкнуть рукопись через границу СССР (мне казалось только это единственно трудным, а уж дальше — всякие руки в свободном мире благожелательно напечатают, и книга быстро выполнит свою цель). Не-ет, мол, *перебросить* в нынешнее время стало совсем не тяжело — а трудно, важно: найти честные руки, куда рукопись попадёт, кто будет ею распоряжаться не с потоптанием автора, не искажая его в спешке для сенсации или прибыли.

Отправка наша до сих пор была только одна: в октябре 1964 с Вадимом Леонидовичем Андреевым, — и с тех пор она лежала спокойно, без движения, в Женеве. (Там был «Круг»-87, то есть сокращённый вариант романа, с политически облегчённым сюжетом, все пьесы и лагерная поэма «Дороженька».)

Весной 1967, приехав из эстонского Укрузица, освобождённый окончанием «Архипелага» и готовясь ко взрыву съездовского письма (как раз начав первые страницы «Телёнка»), я оказался перед необходимостью и возможностью решать: как жить моим двум романам — «Кругу» и «Корпусу». Ведь на родине, исключая самиздат, им — стена.

Да «Раковый корпус» и множился в самиздате с июня 1966. Но, видимо, ещё не быстры тогда были пути самопроникновения рукописей на Запад. И как «Иван Денисович» туда не урвался сам за год, так, очевидно, за год не успел и «Корпус». Но — успеет. И я решил: уж теперь пусть плывёт как плывёт, без моего прикосновения, без всякой опеки и соглашений. А «Круг» — куда опаснее, и я сам буду его печатать, сам выберу и пути, и *руки*, и момент взрыва (так, чтоб и успеть к нему подготовиться). Попробую по-разному, что выйдет.

А ведь начал ходить в самиздате и «Круг». Тут уже стерегись. И я, по совету Евы, решил прямо поручить печатать его на Западе — дочери Вадима Андреева Ольге Карлайл. Убедила меня Ева, что это уж будет издание ответственное, качественное, и точно по моему сигналу.

До сих пор все годы я действовал или в пределах ГУЛАГа, или в пределах СССР — и почти безошибочно в поступках и в разгадке людей. Но тут — предстояло касаться иного, неведомого, мира, и я стал совершать почти только одни ошибки, долгую цепь ошибок, которая и по сегодня, через 11 лет, не расхлёбана.

Из двух выбранных мною путей для двух романов оба оказались — хуже.

Правда, первый путь я невольно подпортил, но никак того не понимая. Весной 1967 получил в Рязань телеграмму двух словацких корреспондентов, просят интервью. Конечно, беспрепятственный приход телеграммы подозрителен, но бывают же и осечки, вдруг ГБ прохлопало? После японца Комото (осенью 1966) я никаких интервью не давал, «Архипелаг» успешно окончен и запятан, меня удушали замалчиванием, — отчего бы голос не подать, да и корреспонденты «восточно-демократические», как будто не криминал? Принял. Один из них, назвавшийся Рудольфом Алчинским, стройный, загадочный, всё время молчал и приятно улыбался; но никакой его роли в дальнейшем не видно — и странно, зачем был он? согладатеам? Старший же был — топыжистый Павел Личко, корреспондент словацкой «Правды», уже тогда смелой газеты ещё не известного миру Дубчека. В прошлом командир партизанского против немцев отряда, человек решительный, он вёл себя и явился мне представителем ещё скованной, но уже пробуждённой словацкой интеллигенции. В конце интервью (поданным им потом с мешанским огрублением, с мелодрамными реплика-ми, — научил меня, что важные мысли надо излагать самому письменно, а не полагаться на корреспондентов) попросил меня Личко: «А не можете вы дать нам „Раковый корпус“ для Чехословакии? Это будет нашей интеллигенции такая поддержка, мы будем пытаться напечатать его по-словацки!» — «Уж тогда и

по-чешски!» — предложил я встречно. А для начала, в журнале, напечатать главу «Право лечить» (уж самую безъершистую). И легко дал ему 1-ю часть «Корпуса» и в придачу «Оленя и шалашовку»: ведь в восточноевропейскую страну, как будто совсем не за границу, не на Запад же! Я сам не заметил, что нарушаю собственное решение: самому — «Корпуса» не давать никому. И ещё совсем не понимал я такой стороны, что машинописная пачка рукописи там дороже пачки крупных ассигнаций, — у нас ведь в самиздате всё льётся бесплатно, между энтузиазмом и уголовным кодексом.

И вот за ошибку зрения пришлось поплатиться. (Ход событий я узнал только в Цюрихе, в конце 1974, из переговоров с английским издательством «Бодли Хэд».) В ноябре того 1967 возвратившийся из братиславской поездки в Лондон лорд Николас Беттел, от других лордов отличавшийся знанием русского языка, — *от себя* предложил издательству «Бодли Хэд» роман Солженицына «Раковый корпус» на условиях: переводят он и Дэвид Бург (он же Александр Долберг, темноватый для меня эмигрант из СССР, отпущенный, когда не отпускали ещё никого), а за перевод возьмём не с издательства (как всегда), а — с автора, половину его гонорара. Что ж, «Бодли Хэду» ещё выгодней. Беттел не представил никаких полномочий от меня, лишь обещал такие от Личко, — и старинное респектабельное английское издательство легко подписало предложенный договор с Личко. («Как же вы могли поверить в полномочия, без доказательств?» — спрашиваю я их в Цюрихе в 1974. Отвечают: «А иначе мы не получили бы романа». И — какие же могут быть преградные соображения?)

Несомненно, что Личко при встрече с Беттелом в Братиславе предложил ему издать в Англии мою книгу. Поверил ли Беттел в полномочия Личко? Допустим, внешних доказательств было не так мало: машинопись 1-й части — может быть, авторская, а может быть, и не авторская; факт, что Личко получил в Рязани у меня интервью; да два моих дружественных письма к Личко вослед интервью — по тому поводу, что главу «Право лечить» напечатали-таки в словацкой «Правде» в переводе супругов Личко. Да, это было — кое-что, но никак не достаточно оснований Беттелу для уверенности, что я поручил Личко печатать «Корпус» в Англии. Однако, очевидно, ему удобнее было поверить, и он, вероятно, легко достроил, что *если* я открыто поручил Личко публикацию одной главы в Чехословакии, то *значит* я тайно поручил ему и публикацию всей книги во всём мире.

Тогда же, в декабре 1967, Личко кинулся опять в Москву. Он хотел получить моё согласие на английский издании и уверен был в том. Но разве найти меня в Москве? — я там и вообще не живу, да неизвестно где, и работаю всегда. Личко бросился к Борису Можаяву, с которым знаком был, потому что и его переводили на словацкий супруги Личко. И возбуждённо теперь рассказал Борису и в возбуждённом письме открыто написал мне: что встречался с представителем «Бодли Хэда» и уже обещал им продать «Корпус». И лишь последнего согласия моего спрашивал, — то есть как ещё довеска к уже несомненному решению? (И — не просил 2-й части «Корпуса», что странно.)

От письма Личко, переданного Борей в моё убежище этой зимы, я взвился в солотчинской берлоге. Но конечно не поехал с партизаном встречаться, да никогда я не допускал лишних движений прочь от работы, однако написал ему ответ, полный проклятий и запрета, — он разрушал мой план не прикасаться к движению «Корпуса», через какую-то неведомую цепочку взваливал всю ответственность на меня.

Борис рассказывал потом — Личко изумился: «Но ведь какие деньги пропадают, какие деньги!» (Тогда я подумал: душа коммунистического партизана уже обзолочена. А что? такие превращения происходят запросто. Сейчас думаю: да нет! провокация ГБ от начала до конца. Не на интервью и пропускали его в Рязань — а за рукописью, чтобы я *сам дал на Запад*? И что уж так часто свободно ездил Личко в Москву? И что ж они 2-й части «Корпуса» от

меня не добивались, для полноты? сами имели? Им только и надо было, чтоб начальный коготок увяз: *сам дал.*)

На том Личко тогда и уехал из Москвы. Я думал: послушался. Начинался 1968 год, «чешская весна», — самое бы время и печатать мою книгу в Чехословакии. Нет! — партизан вёл свои безумные (или очень умные) переговоры. И вот в марте 1968 в пражском ресторане (самое безопасное место от ГБ?..) Личко встретился с предприимчивым лордом и в присутствии свидетелей, англичанина и англичанки, выдавая себя за моего полномочного представителя, подписал договор с издательством «Бодли Хэд» о продаже ему всего «Ракового корпуса», обеих частей, а заодно — и пьесы «Олень и шалашовка», и на неё простяг! При том торопились или были нахмеле — упустили распространить «договор» на все языки мира, не только на английский. Уже уехав в Англию, лорд сообразил, или указали ему в издательстве, и он письменно потребовал от Личко расширения — и Личко великодушно «расширил» простой добавочной запиской.

А всё-таки, «Бодли Хэду» верней бы получить мою собственную подпись! И — опять погнал Личко в Москву, к Можаяву. И всучивал ему — через границу привезенный! — договор, чтоб я подписал. И Борис — того договора благоразумно и в руки не взявши — вынужден был гнать ко мне в Рождество. И в моё ранневесеннее одиночество на Истье свалился с такой новостью: оказывается, Личко договор уже подписал от *моего* имени!

Ах, мелкая душёнка! Ах, канальство! Всё во мне помрачилось. Только-только перед этим я так хорошо отладил всё с «Корпусом», он шёл — а я никак не участвовал, за него не отвечал, — а теперь окажется: я передал его на Запад сам? да не передал, а продал? Что делать с этим балбесом, ошалевшим от запаха денег? Борька! Подави его, гада! Запрети категорически, провались он с его деньгами! Не хочу я с ним ехать даже встречаться!

Так срывался мой замысел, что именно «Раковый» я пускал по воле волн.

Безотказный мой друг воротился в Москву, встретился с Личко — и велел ему тут же, в ресторанной уборной близ Новодевичьего, изорвать привезенный договор в клочки: «Попадёшься на границе — арестуют». И Личко — изорвал? Наверно нет, разве пообещал.

Прошло недели три — и вдруг приносят мне вырезку из «Монд»: между «Мондадори» и «Бодли Хэдом» происходит публичный спор о копирайте на «Раковый корпус». «Мондадори» — шут с ним, он меня не касается, значит, из самиздата взял, — но «Бодли Хэд»? ведь через Личко запутает меня! Из-за этой низости Личко я и должен был особым письмом в «Монд»—«Униту»—«Литгазету» заявить, что: *никто* из западных издателей не получал от меня доверенности печатать повесть. И поэтому *ничью* публикацию без моего разрешения не признаю законной и *ни за кем* — издательских прав.

Я это — с твёрдой чистой совестью заявлял, это именно так и было. В начале апреля радовался появившимся отрывкам из «Корпуса» в литературном приложении к лондонской «Таймс», их передавали по Би-би-си: поплыли, в добрый путь! И не додумался, лопух, что это с экземпляра, который Личко уже продал, — это публикация, анонсная к книге.

Публичное моё заявление, напечатанное в «Монде», потом даже и в «Литгазете» (теперь поверили мне и гебешники), было ясно, твёрдо — и как бы его криво толковать? Ведь знали: я не сделал ни одного вынужденного заявления под давлением властей — как же было не поверить и этому? Однако солидное английское издательство не посчиталось с прямыми словами автора и нашло сговорчивого адвоката — а тот быстро, в начале мая, уже и отпустил «Бодли Хэду» грех: можно с заявлением автора не считаться и печатать. Хуже: «Бодли Хэд», в противоречие мне, *публично заявил*, что их издание — *авторизованное* (то есть, как минимум, *разрешённое* автором). То есть значит: Солженицын

* Солженицын А. «Бодался телёнок с дубом». М., «Согласие», 1996, стр. 201 — 207.

врёт, он сам нам дал. Тем они — подсовывали советскому КГБ прямое основание меня обвинить, советской прессе — меня травить, — и только ради коммерческой выгоды, оттягать мировые права на рукопись от своего соперника «Мондадори». («Мондадори» в Италии и «Дайел» в Штатах тоже в это время печатали «Корпус» со случайной рукописи, но не плели позорной небылицы, что у них от меня полномочия, не имея своих коммивояжёров со своим спектаклем.)

А изображённое перед Можаявым раскаяние Личко было коротким. Возвратясь из Москвы в Чехословакию, старый коммунист написал Беттелу, что Солженицын, конечно, не мог дать письменного документа (*на границе захватят!* — но зачем же было ездить ко мне с договором? нет, тут явно ГБ!), однако «одобряет все поступки» Личко, лучше знающего европейские условия, и если сам Солженицын будет перед Союзом советских писателей публично отрекаться, то на Западе — не обращать внимания, публиковать и 2-ю часть «Корпуса» и «Олень-шалашовку», — таковы, мол, инструкции автора. (Объяснить его корыстью? — так ничего ему по договору не перепадало, как я уже в Цюрихе узнал. Вообразить его моим самым преданным другом, который лучше меня о моих книгах хлопочет? — с чего бы?)

А издательству и лорду-посреднику больше ничего и не нужно. И Беттел с Бургом бешено, в несколько месяцев, прогнали перевод обеих частей «Корпуса». (Но, к моему удивлению, все потом говорили: перевод совсем не плох.)

Что за персона был этот Личко (в сталинские годы — зав. отделом прессы при ЦК Чехословакии!), яснее из его письма Беттелу от 1 июня 1968: «Дорогой Николай! У нас в Чехословакии, особенно в Словакии, особенно сложное положение. Мне лично трудно, даже труднее, чем умеете представить себе...» — и это в разгар «чехословацкой весны»!.. Но всё же Личко тем грозным августом 1968 приехал в Лондон и присягнул на Библии (от коммуниста для строгих англичан это было уже верным доказательством), что имеет на всё полномочия. Заодно продавалась-покупалась и пьеса.

Да уж печатали бы как книжные пираты. Нет, они хотели одолеть соперников за счёт безопасности автора.

О Личко ни разгадки, ни дальнейшей развязки не знаю.

Ещё в каком-то году Беттел приезжал в Москву и через того же Можаява добивался со мной видеться. Я тогда — и имя его слышал первый раз, ничего о нём не знал, и конечно отказался. (А он потом заявил в Англии: именно эта поездка и убедила его, что он действовал в интересах автора.)

Узнал я эту историю только в Цюрихе, в конце 1974, и написал Беттелу гневное письмо. Он не снизошёл мне отвечать — ведь все его липовые договоры с тех пор, ещё до моей высылки, законно утверждены моим адвокатом Хеебом, чего ему беспокоиться? А у меня не было сил разбираться с ним (да все мысли мои были уже — в ленинских главах).

Там у них возник небольшой, но очень предприимчивый клубок: Беттел — шил юридический чехол для «Ракового корпуса», Беттел с Бургом его переводили, Бург с Файфером взялись писать мою биографию, это мог быть ходкий товар; с ними тесно сдружился Зильберберг, снабжавший их информацией (слухами) о моей частной жизни, рядом же был и Майкл Скеммел, тоже затевавший мою биографию и самовольно печатавший куски моей лагерной поэмы, заимствуя из самиздатской статьи Теуша, — вся эта компания жаждала взраститься на моём имени. Файфер, являсь в Москву, взял Веронику Туркину «на арапа»: дескать, у него уже всё собрано для биографии Солженицына (именно то и не знал ничего реально), нужны только ещё небольшие детали. И обязательно — встреча со мной. Я — встретиться отказался и предупредил его через Веронику, что публикацию *сейчас* моей биографии (иной, чем только литературной) рассматриваю как помощь гебистскому сыску, — но он не унялся, продолжал ляпать мою «жизнь», и мне пришлось публично осадить его.

А Беттел, годами позже, описал в своей книге английские предательские выдачи советских граждан назад в СССР в 1945—46. Сколько-то извлёк из

тайных английских документов и сделал дело полезное. Весной 1976 в Англии он направил ко мне венгерского режиссёра Роберта Ваши искать защиту против лорда Идена и его окружения, преграждавших показ фильма об этих выдачах. Я написал требуемое письмо, и Беттел прочёл его в Палате Лордов. Фильм отстояли*.

В том же марте 1967 сделал я и сам непоправимый шаг. Приехала в Москву Ольга Карлайл, и убедила меня Ева, что вот самый лучший случай дать надёжное движение «Кругу»: вывозить плёнку уже не надо, Ольга возьмёт у отца в Женеве, а сама энергична, замужем за американским писателем, вращается в издательском мире, — всё стекается удобно. Будет издание спокойное, достойное, и перевод без конкурентной спешки.

Ну, двигать так двигать. Встретились у Евы. Небольшая, подвижное чернявое личико, без следов серьёзной мысли, настороженное — как у зверька какого. Да мне ли разбираться! — встреча с иностранцем, редкость для меня! А тут и настойчивая рекомендация Евы. Пошли разговаривать не под потолками — я проводил Ольгу Вадимовну в сторону её гостиницы, по ночной Домниковке. Залитые электричеством, но явно не следимые, мы походили, уславливаясь. Очень она была американка, во всех манерах и стиле, русский язык самый посредственный. Но действительно все обстоятельства складывались, что лучшего пути не придумать, да главное — доверие было к семье: Андреевы, и сам Вадим Леонидович такой благородный. Ольга совсем ещё и не понимала, что за размах и успех будет у книги, которую я ей предлагаю (Евтушенко в её глазах был куда важнее меня), а я настолько был захвачен лишь надёжностью, секретностью, внезапностью публикации, что и не затревожился: а собственно, кто же и как будет *переводить*, — хотя понимал же эту проблему даже с юности. У Ольги русский язык никуда, муж вовсе не знает. Но она уверила: есть у неё друзья, Томас Уитни и Гаррисон Солсбери, жили долго в Москве, хорошо знают русский, они помогут, вчетвером и сделают: Генри Карлайл — *стилист*. Ну что ж, тогда как будто хорошо. Назвала издательство, «Харпер энд Роу», — а для меня безразлично. Изматывающая наша борьба в СССР совсем не давала вдуматься и внять, какой там путь книг на Западе, — лишь бы взрывались ударами по коммунизму.

Через несколько дней Ольга, видимо, разузнала обо мне больше, сообразила и стала через Еву спрашивать, не поручу ли я ей и «Раковый корпус», не дам ли фотоплёнку с текстом, она повезёт! Но я отказал, только во всяком случае не из недоверия, а уж как решил: путь «Ракового корпуса» — произвольный, по волнам.

Прошло полгода — в сентябре Ольга Карлайл снова приехала в Советский Союз, и Ева свела нас на квартире у «Царевны» (Наталии Владимировны Кинд). Для прикрытия встречи собрана была компания, Ольга села в центре, посреди комнаты; держала она нога за ногу, по американской привычке высоко, на выстав, поражали никем в Союзе не виданные её какие-то особенные белые чулки с плетёными стрелками; как будто жили у неё в разговоре не руки, а ноги, будто она выражала себя не мимикой лица, не жестами рук, а этими ногами в белых стрелках. Мы с Ольгой вышли на балкон и поговорили минут двадцать, ещё опасаясь, чтобы не слышали нас с верхнего или нижнего балкона. Это был 11-й этаж, залив огней Юго-Запада Москвы простиралась перед нами, огненный мир высоких домов, неразлично — наш или американский, два мира сошлись.

* Солженицын Александр. Публицистика. В 3-х томах. Ярославль, Верхне-Волжское изд-во, 1965 — 1997. Т. 2, стр. 366. (Далее ссылки на это издание даются с указанием тома и страницы.)

Англичанам так неприятно вспоминать это своё предательство в 1945 сотен тысяч русских на гибель и казнь в СССР, что когда русский англичанин Николай Толстой опубликовал ещё более основательную книгу «Жертвы Ялты», то за последствия её заплатил по приговору английского суда в 1989 — штрафом, неслышанным в английском суде: в полтора миллиона фунтов стерлингов!! Свободу мы очень любим, но только для своих. (Примеч. 1990.)

Меня рвали вперёд крылья борьбы — и я ждал за минувшие полгода уже больших результатов, уже почти накануне печатания! С удивлением услышал я, что «так быстро дела не делаются». Это у американцев не делаются?! у кого же тогда? Оказывается, она в Штатах не решилась заключить контракт с издательством без полной от меня гарантии, что «Круг» не появится самопроизвольно. Да как же я такую гарантию могу дать, если «Круг» уже ходит в самиздате? Сам я — никому, кроме вас, не дам, твёрдо. А вот не надо было вам полгода зря терять, обидно.

По сути она ничего нового мне не сказала в сравнении с мартом, только то было видно, что теперь осознала весомость «Круга» и «Корпуса». Тем более энергично я убеждал — толкать! скорей! Я не мог понять: а почему ж они эти полгода даже *не переводили*? (Это уже Ева мне потом объяснила, опять: «так дела не делаются», на Западе никто не станет начинать работу без аванса, без финансовой прочной основы. Как странно было слышать это нашим ушам, привыкшим к бескорыстному и даже головоотчаянному стуку самиздатских пишущих машинок. Эти на каждом шагу «сколько?» — не прилеплялись, не переплетались с нашим привычным.)

Сейчас, когда я это пишу, спустя 10 лет от тех встреч, опубликована книга О. Карлайл с оправданиями, искажениями и многими измышленными приплетами. Но кое-что она помогает увидеть с их стороны.

Для неё эта наша вторая встреча была — всего лишь подтверждение полномочий, ведь она будет делать серьёзный коммерческий шаг: вступать в договор без письменной доверенности на руках. Она теперь напоминает, и верно, что я горячо говорил: «Не надо экономить! Не надо думать о деньгах! Тратьте деньги, чтобы только дело двигалось! Мне надо, чтобы бомба взорвалась!» Пишет: «Он не выслушивал объяснений». Тоже допускаю: мой порыв был — к печатанию! полвека уже загоняют нашу литературу в подпол, дохнуть никому нельзя, дайте распрямиться! и какие там могут быть встречные обстоятельства? Так и не узнаю я никогда: а что ж она собиралась в тот вечер объяснять? что она вмешивает в это дело ненужного корыстолюбивого адвоката? что ее муж должен получить звание и оплату литературного агента за распространение «Круга», как если б какое-то издательство брать его не хотело и надо было всучивать? Если б она мне такое и сказала — действительно б я изумился, ничего б не понял. Мне — печатать «Круг» надо было скорей! — для того и вся встреча.

Прошло три месяца — в декабре через Еву известие: Ольга опять едет (они перезванивались). Да что такое? всё свидания вместо дела. Но тут ей отказали в визе. (После предыдущей поездки в СССР, вместе с Артуром Миллером и его женой, она напечатала что-то диссидентское, критическое против власти — ей и закрыли путь в Союз. Ныне она кривит, что ей закрыли путь *из-за меня*.) Тогда она доверила весь секрет своему другу детства Степану Татищеву в Париже (самовольное расширение, но оно не оказалось вредным, напротив, Степан ещё много и многим поможет). Татищев приехал вместо неё. Снова риск, снова встреча, опять у Царевны.

У Степана и язык русский хороший. И прямодушное лицо, и глубинная взволнованность Россией. Уединяемся с ним — и что же? Карлайлы получили тревожный слух, будто этой осенью в Италии кто-то предлагал «Круг» от меня. — Да сколько же можно одно и то же повторять! Да ведь я уже дважды поручил — ей, именно ей, ей! Да ведь мы все здесь только и держимся на слове и доверии! Конечно, «Круг» есть и в КГБ, и в самиздате уже, — именно поэтому мы и должны *спешить* с печатаньем!! — Нет, на той стороне неуверенность. Они предпочитали бы письменную доверенность на ведение дел! — О, туполобые! — захватят на границе такую доверенность и до всякого «Круга» голову мою срубят с плеч! Ну, как их там убедить? Да пусть поймут: никогда я не отменю своего слова! никто меня не остановит в печатании! если уж объявятся конкуренты и будут обгонять — ну, тогда я признаю вас открыто. Но пока конфликта нет, необходимости нет, — не надо, поберегите же и меня!

А разобраться — так очень сходная ситуация с «Бодли Хэдом». Как те добивались моей прямой подписи, так и эти. Решительная разница только *для меня*: что там я не хотел поручать, плывёт как плывёт, а здесь — именно доверил, настаивал и торопил. А издательства одинаковы: воля писателя, как он там бьётся в советских тисках, весьма мало интересует их. Им нужна только гарантия коммерческого успеха: что никто не обгонит их в печатании, что на случай суда у них есть юридический документ. Наши простецкие мозги — не были приспособлены понять их.

Ольга же, на прошлом свидании узнав от меня о существовании «Архипелага», теперь через посланца запрашивает: а можно ли считать и «Архипелаг» обеспеченным для их группы и для избранного издательства?.. (Господи, головой не могу объять, почему сам «Круг» не насыщает западное издательство?) Хорошо, швыряю я и «Архипелаг» подмостью для «Круга»: ладно, усильте своё положение перед «Харпером», сообщите ему, что ещё будет и другая большая книга, только ни за что не называйте её!

Нет, Карлайлы и тут не решаются, пока не вовлекут в дело пружину американской жизни, адвоката, некоего Антони Курто. Мне никогда не пришлось его видеть, но вот как Карлайл описывает его теперь в книге: вызывает образы с Уолл-стрита, мир частных фондов, капиталовложений; никогда не занимался ничем, близким литературе; плотный, преуспевающий, радостный, стремление к успеху, подозрение к контрагентам и клиентам, сам весь новый и портфель блестящий, автомобиль огромный. И вот в эти доверенные сочувственные нежные руки вкладывает внучка русского писателя судьбу другого русского писателя, придавленного. Не удивительно, если Курто вполне безразлична и литературная и политическая суть дела, а усматривает он только: что находится в беспомощном движении какая-то материальная ценность, и можно хорошо на ней заработать.

В феврале 1968 он помогает О. Карлайл подписать договор с издательством «Харпер». В тот год я вообще не знал, не думал, что существует какой-то там договор, но через много лет в Цюрихе мне пришлось его прочесть. Боже мой! Это не был договор на взрывную книгу писателя, схватившегося насмерть с душегубным режимом, да на виду у всего мира, — но договор-диктат мощного издательства робкому автору-дебютанту, уже с первого шага виновному. Договор налагал на автора цепь ответственностей за все возможные неустойки, судебные споры с другими издательствами об авторских правах, все опасности, все помехи: компенсировать им всё, что может произойти от свободного движения «Круга», — должен буду я, и я, и я. Тут, на Востоке, я отвечаю за книгу головой — а на Западе я уже вперёд задолжал за неё штрафами или долговой ямой. Издательство детально гарантировало себя с денежной стороны: трёхлетним замораживанием всех авторских гонораров; после трёх лет — правом в любой момент остановить их выплату; односторонней обязанностью автора оплачивать любой судебный процесс, и так далее, и так далее, до мелкой оплаты всякого моего изменения в первоначальном тексте. Только об одном никто не вспомнил и не внёс в договор ни строчки: о качестве перевода, об ответственности издательства за качество книги. И без колебания О. Карлайл вывела свою подпись. А директор издательства Кэз Кэнфильд только потому и согласился даже на такой договор, что при этом устно Карлайл ему пообещала ещё и вырванное у меня согласие об «Архипелаге», который под советской давящей глыбой нам ещё предстояло докончить и перепечатать. («Как же вы могли заключить такой колониальный договор?» — спросил я недавно представителей издательства. Отвечают: зачем, мол, теперь детали вспоминать? — суда ведь не возникло. С первоприродной откровенностью: надо ж было и роман не упустить, и финансово обезопаситься. — Так же, как и «Бодли Хэд»!)

И вот только когда, за год оседлав договор, супруги Карлайлы сочли возможным потратить своё время на «Круг». Верней, попался здесь на пути сам отверженный и честный человек — Томас Уитни. Карлайлы дали ему перево-

дить в сентябре 1967. Уитни не беспокоился о договоре, о вознаграждении (был состоятелен), но хотел действительно послужить движению русской книги в Америке. Чтобы не вскрыть касание ко мне семьи Андреевых, переводчиком «Круга» и назван был только он один (как, по сути, и работал он один). К марту 1968 он уже сделал, что мог, — однако он не был переводчик профессиональный. Супруги же Карлайл, не зная русского языка и уже не сверяясь с русским текстом, бросились «шлифовать» перевод «под стиль» Генри Карлайла. Не сделав ничего от весны 1967 до весны 1968, теперь нужно было успеть повернуть побыстрее к осени 1968. Что они нашлифовали — к Уитни уже не возвращалось, а шло в набор. Ему же в издательстве в последние дни предложили править гранки — он с ужасом увидел много ошибок, но исправить успевал мало.

И что ж это получился за перевод! Довольно вскоре достиг и нас в Союзе экземпляр книги — и я, делать мне больше нечего! и деться некуда, — сел проверять — сравнивать несколько глав по выбору — «Немой набат», «Спиритон», «Церковь Иоанна Предтечи». Сильно смутился. Попросил проверить специалистов. Боже мой, — и это перевод? — с потерей красок, со срезкой рельефа речи, особо частой утерей прилагательных или целых синтагм, смысловых значимостей, и уж конечно безо всякого понимания ритма, со сбивом его в чередовании фраз, с нарушением абзацев — отменой моих, появлением новых. Пропускались многие слова, выражения, оттенки; как можно понять, одни — по трудности перевода, другие пропуски не объяснить ничем, кроме небрежности. Много отчаянных нелепостей, вот — такой рекорд, о маленькой девочке: вместо «Агния всегда была расположена за зайчика, чтобы в него не попали», — переведено: «Агнию бережно располагали за маленьким домиком, чтоб об неё никто не споткнулся». И ещё удивительные места, где сочинены целые фразы, которых вовсе нет у меня.

Мучительно было это всё обнаружить. Ладно, «Ивана Денисовича» расхватали жадные соревнователи, «Раковый корпус» поплыл без моего управления, но эту-то книгу я озабочился передать в *верные* руки, — и что же прочтут и поймут американцы?

А ещё же Карлайл подписала с «Харпером энд Роу» передачу им и мировых прав на «Круг» и, значит, распространение его на всех европейских языках. (Карлайл о том сама раньше не подумала, и со мной в Москве о том разговора не было, я с нею имел в виду именно и только американское издание, — неважно: меня не спрося, подписала она теперь и мировые.) Месяцами позже от приехавших стариков Андреевых я узнал как о готовом факте: что публикация произойдёт сразу в пяти странах. Ну что ж, пусть так, думал я: громче удар, радовался. Но если Карлайл, «отдавшая всю жизнь» моим делам, не могла хоть американский перевод издать в хорошем качестве, то где уж там следить за остальными переводами? «Харпер» теперь занялся подсчётом своего мирового дохода, и вместе с ним Карлайлы только указали жёсткий единый срок мировых публикаций — распространение же книги передали международному литературному агенту Эрику Линдеру, а тот тем более утруждался лишь получением своих процентов, а не качеством переводов. (А я именно в этот апрель 1968 в письме в «Монд»—«Униту» публично заявил, что только качества переводов ищу, напомнил: «кроме денег существует литература».)

Английский «Коллинз» по первым же пробам отказался от американского перевода. Однако составленная им самим группа переводчиков (под общим псевдонимом) тоже спешила отчаянно, не смогла перевести удовлетворительно и согласованно. Анализировали мы в Москве и их перевод, и тоже наплакались: не многим лучше.

Ещё горше был загублен французский перевод. Есть и прямое признание издателя Робера Лафона (в письме к Полю Фламану, моему достойному представителю, но уже с 1975 года), что они получили американский перевод «Круга» раньше русского текста, и переводили с английского, и на всю работу имели четыре месяца. Это видно и по книге, без его признания. Книга пере-

ведена чудовищно, ко всем ошибкам американского перевода добавлено множество своих ошибок, непонятностей и небрежностей, есть у меня и этот анализ. (Отмечалось во французских газетах, что даже строфа «Интернационала» не воспроизводила истинный французский текст, а — через двойной, вернее тройной, перевод.)

В немецком переводе, где работали две разных переводчицы, я и сам вижу, как повторены все нелепости и промахи американского, — значит, переводили тоже не с оригинала, а с английского. (Непонятно, почему Карлайлы вовремя не давали европейским издательствам исходного русского текста?)

Так Карлайл швырнула мой «Круг» на растопт, изгажение и презрение, и считает, что оказала величайшую помощь утверждению моего имени. И что он был всё-таки разглажен через всё осквернение (а во Франции даже удостоен премии лучшей книги года), «Круг» обязан, очевидно, только своей конструкции, не уничтожимой ни в каком переводе, и тугой спирали сюжета. Удивляться надо, как через муть этих крошечных переводов пробивались события и лица.

Сидя у нас там, в СССР, под прессом, — что такое подобное можно было вообразить? Мы ставим головы против всемогущего КГБ, а уж наши доверенные друзья на Западе и вообще все свободные люди — конечно крепко держат наше рукопожатие, они-то сочувствуют нам! Одновременный в пяти странах выход моего «Круга» тотчас же за разрозненным появлением «Корпуса» — казался грозным залпом! Но, болезненно для меня, ни языка моего, ни местами смысла, ни самого автора представить было нельзя.

А весной 1968, ничего того ещё не ведая, мы как раз кончали «Архипелаг». И под Троицу 1968 — удалось отправить его, в *те же руки*, Карлайлам, — и отправка эта, и сами эти Троицыны дни казались нам святым зенитом жизни: по-шёл, по-шёл и «Архипелаг» за «Кругом»! В путь добрый!

Я просил Карлайлов организовать перевод «Архипелага» года за два, в полной тайне, оплачивая перевод из моих гонораров «Круга» и поэтому не нуждаясь ни к какому издателю обращаться и открываться. (По западной практике, аванс и деньги в срок, — такой независимый от издательства перевод вообще был бы невозможен, не будь уже авторских гонораров от напечатанного «Круга». Но деньги же были в безраздельном ведении Карлайлов, они оплачивали и свою «комиссию», и своего адвоката, и свои шаги, и своё бездействие, — но что ж никаких сведений о ходе перевода?)

И вдруг весной 1969 доходит до нас страничка из журнала «Тайм» — и в нём читаем открыто название «Архипелаг ГУЛАГ»!!! — о, ужас! — и будто манускрипт ушёл на Запад без ведома автора, и за ним жадно охотятся западные издательства! Какой кошмар! Откуда эти сведения? Мы-то знаем верно, что *ни один* экземпляр больше никогда никуда от нас не ушёл, — и не могли же наши благодарные друзья нас так предать?

Опять — ощущение подтопорной незащитности. И — раздетости. И — осквернения.

Ева ищет связь, оказию, гоним тревожный запрос: откуда это? Если от вас — то остановите же, не смейте! должна быть глубокая тайна!

Ответ не менее возмущённый: от нас ничего не могло просочиться, это — от вас.

Но мы-то знаем, что не от нас. Но и ГБ — всемогуще! Долгая тревога на сердце. (Много позже, уже на Западе, выяснилось: Карлайлы прямо назвали «Архипелаг» в издательстве и, может быть, похвастали каким-то друзьям, среди них узнала Патриция Блейк, и она-то и написала в «Тайме», чтобы блеснуть своей журналистской осведомлённостью. А был момент — и сами Карлайлы порывались публично объявить, чтобы пресечь воображаемых ими соперников!)

А между тем шли месяц за месяцем и, по сведениям Евы, перевод «Архипелага» всё не начинался. Да как же можно?! — книгу о страданиях наших

миллионов, книгу, которую мы дорабатывали, почти не имея времени надыхание, на еду, не оглядываясь на лес берёзовый подле нас, — и эту книгу не начинать переводить, не торопиться? Ева фыркала смежно мне в ответ: «Ну, дайте же людям полежать на флоридском пляже!» О, если б только на пляже! о, если б только этот год один! Карлайлы отдали Уитни первый том, затем второй. По своему сочувствию к делу и трудолюбию он опять бесплатно взялся, сделал начерно оба тома к июню 1970, принялся и за третий. Карлайлы (по его теперь словам) какое-то время поработали на «шлифовке» первого тома, потом покинули эту работу (да и к лучшему, чем наводить их «глянец»). Как и раньше с «Кругом», их и с «Архипелагом», приходится думать, интересовала не многотрудная работа над текстом и не будущий ход книги сквозь западные умы — а взлётный предстоящий момент продажи «Харперу» мировых прав на «Архипелаг». Но от меня не поступало разрешения на продажу таких прав.

Как-то приезжал в Москву брат Ольги Саша Андреев, сам и отправлявший плёнку «Архипелага» в 1968 через границу. Мы встретились с ним на кухне Надежды Яковлевны Мандельштам, которую ему естественно было посетить (так и Н. Я. включается в наши «невидимки»). И он передал настойчивую просьбу сестры написать ей *письменное* разрешение на копирайт (и притом мировой) «Архипелага»! Опять то же самое: чтоб через границу повезли такую бумажку: я *сам* отдаю «Архипелаг» для западного печатания! Нет, двум таким мирам нельзя было друг друга понять! Я отказал, конечно. А Карлайлы — теряли интерес к продвижению «Архипелага», раз нет письменной гарантии, из чего им хлопотать?

Между тем все эти годы, после 1968, половина моей твёрдости была — что «Архипелаг» отправлен, что он в надёжных руках друзей, ну и, конечно же, переводится (и, по простору времени, наверно отлично). И — грянет!! и ударит по нашим злодеям, как только я скомандую!

Иногда приезжали старики Андреевы (в свой отпуск — в СССР как советские граждане), и с ними тайно встречались то я, то Аля, дважды, помню, опять на квартире Н. Я. Мандельштам, где «потолки» опасные, — и мы не говорили, а писали многими полчасами, мало продвигаясь в обмене сообщениями. И я долго не вник, не способен был понять, что же именно происходит с моими книгами. Добрые старики и сами точно не знали: «переводится», «будет несколько позже» (мой загаданный срок был — Рождество, январь 1971 года). Набились ещё вопросы-ответы: то — в какие сроки какие вещи пускать в ход из первоначальной плёнки, увезённой Андреевыми; то — как поступать, если меня прикончат? то — не надо ли пока благотворительности какой устроить на Западе, всякие тамошние детские сады? (я сказал — нет: если что от всех оплат и трат останется — всё оберну на нужды русские). Но из деликатности не дошло до лобового вопроса: а как же? как же они справляются с переводом? Сказал я старикам, смягчая, что перевод «Круга» далеко не удовлетворяет меня, — тут Ева на меня зацкакала, что я судить не смею, и старики уверяли, что «по-английски звучит безупречно». Однако отзыв мой они передали дочери, и Карлайлы оскорбились смертельно. Если до того они и собирались «поработать» над «Архипелагом» — то уж впредь охота отпала (оно и к лучшему; мы никогда ни строчки их труда по «Архипелагу» не видели, хотя О. Карлайл ещё много лет уверяла, что «была сделана огромная работа»).

Тем временем подходила пора начинать и другие переводы «Архипелага» на иностранные языки, не только же на английский. Однако единственный текст за рубежом был в руках Карлайлов. Надо было получить от них копию. Летом 1970 Бетта ездила в Женеву к В. Л. Андрееву и самым мягким образом выразила просьбу получить текст для немецкого перевода. В. Л. принял чрезвычайно болезненно, что это поведёт к разгласке, растеканию, — он ведь оставался советским гражданином, тем более всего опасался. Только и дал Бетте почитать фотоотпечатки без выноса. И Бетта отступила, не настаивая

больше. Просить же у Ольги она не бралась, уже тогда находя её невыносимой. Дала знать нам, что — отказ. У нас в Москве создалось впечатление, что это был твёрдый отказ самой Ольги. Мы с Алей приняли такой отказ как чудовищный. Мне, автору, они отказывают в моём тексте? значит, они уже числят за собой те мировые права на «Архипелаг», которые я им не передавал? Так что ж, нет выхода, неизбежно нам вторично предпринять ту же страшную эпопею: заново переснимать «Архипелаг» и заново искать путей отправить на Запад? Топор над теми, кто назван в тексте, — и топор над теми, кто будет готовить и отправлять плёнку? (За три года, что прошли от первой отправки, обстановка вокруг меня резко обострилась, слежка за квартирой была круглосуточная, и за каждым шагом моим, семьи и друзей.) Несколько человек рисковали свободой и жизнью: надо было снова доставать три тома из дальнего хранения (А. А. Угримов) — фотографировать (Валерий Курдюмов) — где-то близко хранить скрутки плёнок — затем передавать их цепочкой до французского посольства, когда Анастасия Дурова найдёт путь отправить их в Париж, а там ещё чтобы курьеры не проминули Никиту Струве.

Так свелась ни к чему вся наша Троицына отправка, вокруг которой столько было тревог, смятения и надежд. Все прежние риски ушли в тупик и в ничто. Не с теми людьми связались. Надо — безошибочно выбирать, кому доверяешь. А это — труднее всего.

Второй пересыл «Архипелага» оказался куда мучительнее первого: подтверждения о благополучном исходе мы в неизвестности и напряжении ждали — 3 месяца! — до мая 1971. Но теперь уже и мы, соответственно, не общались о нём Андреевым—Карлайлам, а начали сосредоточенно, молча переводить на немецкий, затем французский и шведский. Мы хоть получили свободу выбирать переводчиков и вести работы.

А ещё в конце 1969 у меня завёлся на Западе адвокат, доктор Хееб. Узнав о том, Карлайлы встревожились ужаленно: ещё какой-то новый доверенный? с кем-то делить права? Тут ещё и Бетта, чья прямота и чёткость пришлись Ольге как ножом. (Пишет теперь в книге: «Солженицын энергично устанавливал на Западе свою личную бюрократию роскошным византийским образом».) Через Еву раздалось к нам от Ольги острое раздражение и уведомление, что они считают мой шаг рискованным, новому адвокату не доверяют и во всяком случае сотрудничать с ним не хотят. И ещё, и ещё раз передавали, что не хотят ни с кем «делить ответственность». И старики Андреевы в очередной приезд резче обычного выразили неодобрение и недоверие Хеебу, и даже передали нам такой слух, что Хееб... коммунист? (Ну, быть не может! ну вот бы влипли!)

Так между двумя нашими действующими на Западе силами в 1970—71 создались натянутые отношения. Искры и треск разрядов доносились к нам с обеих сторон. И — вдруг? — в начале 1972 Карлайлы неожиданно признали: да, конечно, мы понимаем, адвокат необходим, защищать всю широту интересов. И даже — ласково о Хеебе (только к Бетте не смягчились).

Мы и порадовались, ничего не поняв. Вот, меж добрых людей всё решено отлично.

Адвокат на Западе! Как это ново придумано! Как это дерзко звучит против советских властей! Мы долго радовались и гордились таким приобретением.

Столкновение Востока и Запада, двух разных типов жизни, отлично проглядывает в сцене: как мы этого адвоката брали. (Почему — адвоката, а не литературного агента? — а мы просто не знали о такой ещё специальности.) На квартиру Али на Васильевской улице Бетта привезла стандартный швейцарский типографский бланк на немецком языке с перечнем всех разнообразных доверяемых видов деятельности, их была там юридическая полусотня, трудно представить, какой бы вид не охватывался. Оставалось проставить фамилию адвоката, мою подпись и дату. Только стали мы с Беттой вчитываться в этот густой перечень (всё же мужицкая оглядка тревожно предупреждала меня, что нельзя уж так безмерно всё доверять, слишком много написано, — но и новый

же не составишь, а какие случаи действительно понадобятся моему будущему защитнику, как предугадать?) — вдруг стук в наружную дверь. Аля пошла открыть — водопроводчик, но не обычный жэковский, хорошо известный, а какой-то совсем новый. Говорит: ему надо в ванной краны проверить. Что? почему? не жаловались, не вызывали. А уже дверь входная открыта, как-то и не запретишь. Аля пустила его (а дверь нашей комнаты плотно притворена, и мы затаились) — он прошёл в ванную, покрутил какую-то безделицу, ничего не сделал и ушёл. Очень подозрительно. Так и поняли, что это — ГБ, хотели засечь иностранку в нашей квартире. Мы-то затаились, а пальто гости на вешалке в прихожей висит... Под этим ощущением осады и опасности для Бетты выходить — и текла дальше наша встреча. И уже не вчитывались мы так подробно в список, и ясно было, что не откладывать же до другого приезда Бетты через полгода или год, и ничего уже тут нельзя исправить, а надо подписать. Мы о водопроводчике думали, а не — какие последствия могут быть от этой генеральной доверенности. И большая забота: ведь эту бумагу Бетте сегодня, пожалуй, нельзя выносить с собой. Значит, надо её оставить в нашей квартире, затем вделать во что-то, в конфетную коробку, в таком виде Бетта повезёт через границу.

Да, так всё же: кто этот адвокат? Швейцарец, доктор Хееб, Бетта лично знает его, очень честный, порядочный человек. Ну, чего ж нам ещё? Честный, порядочный — это самое главное, и нейтральный швейцарец — это тоже неплохо. Расспрашивать некогда, думать некогда, ладно, скорей! Я подписал. Свершилось! — у меня на Западе полномостный доверенный всех моих дел. Какая находка! Какая опора теперь у меня! Ну, поиграйте со мной, попробуйте!

Уговорились так: вся важная связь по-прежнему идёт через Бетту *по левой*, а уж она из Австрии по телефону или прямыми поездками согласовывает с доктором Хеебом.

Да скоро явился и случай спасительной защиты. В декабре 1969 начала «Ди Цайт» печатать «Прусские ночи», подкинутые ей всё тем же неутомимым «Штерном» с просьбой *от моего имени*: как можно скорее печатать!! У самой «Цайт» не хватило соображения, что такую вещь печатать нельзя, сильно преждевременно, губительно для меня ещё и с новой стороны, — да поверили «Штерну». Но вот доктор Хееб только подал голос — и печатанье остановили!

В СССР, в большой моей Драке и вдали от западных юридических петель, я многим противникам наносил удары, не считаясь с их звучностью. А на Западе эти махи сразу подпадали под юридическую опасность. Когда в 1972 «Цайт» же процитировала моё острое заявление о «Штерне» — не в силах судиться со мною в СССР, скандальный «Штерн» послал в «Цайт» резкий протест с угрозами — не прямо суда, пока несколько неопределёнными. (Общая их неуверенность — что могу выкинуть я.) В германском суде такое дело было бы для «Штерна» выигрышно: я уверен был и утверждал, что лгут, не было их корреспондента у моей тётки в Георгиевске за сведениями обо мне (а как раз и был, оказывается, в компании с Луи), и что с Госбезопасностью «Штерн» связан в Москве (резко опасное утверждение! пойдй докажи! суд — и прямой проигрыш). В «Цайт» пережили, очевидно, тяжёлые минуты: моя резкость легла теперь на них ответственностью. Но главный редактор «Цайт» графиня Марион Дёнхоф не растерялась, ответила с большим достоинством и горячностью, давя на открытую подлость и провокаторство «Штерна» относительно меня: доносительский подстрел из засады, против чего я не могу обороняться. И напоминала, что «Прусские ночи» провокационно толкал к печати всё тот же «Штерн». Заряд подействовал. Хотя «Штерн» имел славу удачливого судебного сутяги — в этот раз он всего лишь оправдался в «Цайт» слабой статьёй своего корреспондента Штайнера, где тот настаивал, что ездил-таки к моей тётке, и довольно ловко плёл для западного читателя, что препятствий иностранцу в Георгиевске нет, потому что, как всем известно, «эта область», Кисловодск—Пятигорск, открыта всем туристам. (Та область — да не та... Курортные города, разумеется, открыты. Но не Георгиевск, а с Запада не разобрать.)

Что ни шаг на Западе, самый простой шаг, вызывает суд — была для меня полная неожиданность, и резко-неприятная: этой атмосферы напряжённых гражданских исков в Союзе не было совсем. Вот, имея адвоката, значит надёжно оградив свои права на Западе, я в 1971 впервые спокойно печатал в Париже «Август»: русское издание у «Имки», а дальнейшие переводы устроит доктор Хееб. (Но я упустил предупредить его о русском «Августе» заблаговременно, ему тяжело пришёлся внезапный мировой шторм издательств: срочно требуют права на издание, конечно с бешено-поспешными переводами.) Кажется — при адвокате ничего не должно случиться худого? Но сразу совершаются три пиратских издания — и на русском! и на немецком! и на английском! И по всем трём возникают суды.

Наше русское издание вышло в июне 1971 (от самиздата мы «Август» до тех пор удержали), иностранные не могли перевестись и появиться раньше 1972. И вдруг осенью 1971 в Германии в издательстве «Ланген-Мюллер» взорвался готовый немецкий перевод! Вот тебе нá! Да как же они могли успеть? невозможно за 3 месяца качественно перевести и издать книгу в 500 страниц!

Как по-старому не было у меня адвоката — мог бы я только протестовать газетно. Но наличие адвоката, напротив, обязывало начинать процесс: если не протестую — так это я сам и напечатал!

Теперь, через несколько лет, когда представлены все объяснения, история публикации «Августа» по-немецки вырисовывается так: ГБ скопировало мой текст тотчас, как я кончил книгу — в октябре 1970, очевидно у кого-то из «первочитателей» — надеюсь, без ведома его. После того как выяснилось (начало декабря), что я не поеду за Нобелевской премией в Стокгольм, решено было соорудить такую провокацию: организовать печатание книги на Западе, а затем обвинить меня в самовольной публикации «антипатриотического» романа. Публикация «Августа 1914» не принесёт никакого вреда Советскому Союзу — зато, думалось, даст хороший повод пугать меня, травить, вынуждать к отречению, а то и судить.

ГБ, видимо, планировало так. Именно то, что «Август», в отличие от «Круга» и «Корпуса», не ходит в самиздате — как раз и облегчает обвинить меня в передаче на Запад, если книга появится там. Но издательство должно быть солидное, и, значит, надо ему *чисто* передать рукопись: издатель должен верить, что это — по воле автора, однако ни сам автор, ни адвокат не должны о том узнать. Что совершенно не приходило в голову КГБ — что я действительно напечатаю книгу сам, открыто, от собственного имени. Торопились они, торопился и я, два минных подкопа шли скрытно друг другу навстречу.

К Новому (1971) году в Москву приехала из Германии мадам Кальман, вдова композитора. Она встречалась с Ростроповичем и спрашивала его обо мне, даже просила походатайствовать, чтобы следующую книгу передали через неё. Ростропович обычно всем отвечал с высшей любезностью, может какая и проскользнула у него неопределённая фраза полуобещания, но в Жуковку на свидание со мной он её, конечно, не повёз, как и не возил ни одного иностранца за все мои годы там, да и мне ничего не передал об этом случае. Тем не менее, воротясь в Германию, мадам Кальман издателю «Ланген-Мюллера» Фляйснеру *рассказала о встрече со мной в Жуковке*: живёт в ужасных условиях, питается картофелем и молоком (по-советски — так ещё не плохо!), смертельно болен, выглядит столетним, ежедневно ждёт ареста и ссылки в Сибирь, совершенно запуган. Очень хочет срочно напечатать «Август», совсем не интересуясь гонораром, но боится передать рукопись сам, её надо получить у адвоката Хееба, и сделать это издательство может только через мадам Кальман, никому другому Хееб не отдаст. (Именно этот фантастический рассказ и позволяет думать, что мадам Кальман сама — не жертва интриги.)

И что же почтенное издательство (почтенное, но прежде, под его крылом, маленький «Иван Денисович» был разорван четырьмя переводчиками для скороспешного перевода)? — уже которое в этом ряду? — вот эта однообразная

прагматичность их действий безо всякого нравственного контроля более всего и поражает меня в истории печатания моих книг на Западе. Хееб — в Цюрихе, рядом, издательство может легко и просто снести с ним напрямую, но напущенная мадам Кальман таинственность заставляет его («а иначе мы не получим рукопись?») отдаться подозрительным услугам на её условиях. Самозванная посредница с ещё одной мадам якобы отправились 18 января в Цюрих, там якобы предъявили Хеебу косо оторванную часть билета с московского концерта Ростроповича, билет совпал, — и тем якобы получили рукопись «Августа»! — только с условием: глубокой тайны! (Ничего подобного, разумеется, не было, к Хеебу они не являлись.) Издатель Фляйснер радостно и доверчиво взял рукопись. (Он искренно верил, что — от меня? Допускаю. Да хоть не требовал письменной доверенности от меня. Но письма мне, оказывается, писал, — да как же, после всех тайн, открыто по советской почте? — в Рождество, Наро-Фоминский район, — это уже странно. Позже ссылаясь, что «не получил от меня возражений» против печатанья! И — зачем-то «сообщил Международной Книге» советской, — крайняя наивность?)

Так КГБ прекрасно обыграло существование Хееба: не было бы моего адвоката — КГБ искать бы, искать, состраивать правдоподобную передачу в издательство — «от меня».

Теперь понятно, что когда в начале апреля 1971 (уже два месяца как роман переводился у «Ланген-Мюллера») стали советские журналы получать мои предложения напечатать у них «Август» и запрашивали, ясно, КГБ — там только смеялись. Конечно, командовали журналам не отвечать мне, чтобы бумажкой не подтвердить моего алиби — что я хотел печатать роман в СССР. А я, не получая их ответов, тоже смеялся: не отвечаете? вот и ладно, не придётся тормозить парижское издание.

Внезапная публикация «Августа» в «Имке» была для расчётов ГБ опрокидывающей неожиданностью (да почему ж агентура такая слабая? ведь типография Лифаря — была неохраямая, открытая): сам посмел, да ещё свой копирайт объявил! По сути вся их воровская махинация на том и лопнула, и надо было бы им отступить, да уже машина разогнана, не отступится затянутый в дело «Ланген-Мюллер».

А Хееб отдал немецкие права издательству «Люхтерханд» (по совету Бетты, она знакома была с ними). И начался между двумя издательствами суд — да какой долгий! до 1977 года, 6 лет до окончательного решения. Из Москвы суд не казался мне неправильным, а — верно, отстаивайте! Но попав в Европу, я склонялся к примирению: оказался их перевод получше нашего, люхтерхандского. И что же останавливать хорошее издание, уничтожать тираж! Однако вся наша сторона настаивала, что надо досудиться и победить (и тем пустить мои книги под нож!..). Я ещё тогда в судную проблему не вошёл.

Ещё о судах вокруг «Августа».

Москвы достигали книги лишь случайно, и вот с какого-то года стало попадаться лондонское издательство «Флегон-пресс» (потом оказалось: Флегон — это фамилия издатчика). Ничегошеньки я о нём тогда не знал, но вижу: издал мою «Свечу на ветру» с утерей одной машинописной страницы, и даже не оговорился, а слепил как попало, без смысла. Издал «В круге первом» под диким названием «В первом кругу» — и дикое количество опечаток, редко по 10 на страницу, а то по 20—25! И целые куски текста опять потерял (главу «Рождение науки»), и перевернул имена действующих лиц. Этот Флегон издавал меня так небрежно-наплевадельски, как будто хотел нанести мне как можно больше вреда, как будто умышленно изгаживая мою книгу. (Оказывается, я никогда и не видел, он издавал и «Ивана Денисовича», «Матрёну» и «Олень и шалашовку», всё хватал.) Но при «Августе» этот пузырь из лужи попёр и вовсе неожиданно: перефотографировал уже изданную «Имкой» книжку, несмотря на ясный копирайт, натолкал туда не относящихся к роману фотографий — и всё это нагло издал от себя. «Имка», по западному обычаю, подала на него в суд. И опять потянулось на несколько лет — но не

наказали Флегона: он объявил себя банкротом, и наша же сторона платила все судебные издержки.

А оборотчивый Флегон — первоклассный мастер судиться, вся душа его в сутяжничестве, тем временем он не дремал: стал судорожно переводить «Август» на английский, и уже предлагал продавать «Обзёрверу» по кускам, и «Пингвину» для мягкого издания. И так возник третий суд по «Августу»: на Флегона подало издательство «Бодли Хэд», остановить эти эксперименты. Флегон оправдывал свои действия ложью, что будто бы «Август» уже ходит в самиздате, а потому не принадлежит «никому». (Выглядит как явное постоянное намерение: сорвать копирайты моих книг.) Но как ни юлил, не мог назвать никого, кто б читал «Август» в самиздате, — да он и не ходил там, пока не вышел в «Имке». И ещё настаивал Флегон: что, по советским законам, я не имел права давать доверенность Хеебу, и потому полномочие недействительно. (Всегда бы Флегона поддержал Луи, с ним знакомый и связанный в операциях, но сам был фигурой одиозной, по распространённому мнению кагебист, и они свою связь скрывали. Впрочем, замечено было, что Луи в 1967 «продал» мемуары Аллилуевой именно Флегону. А в 1968 Флегон готовил и опередительное издание «Ракового корпуса» по-русски, очевидно с луёвского экземпляра, — о чём и предупреждали меня тогда «Грани» телеграммой, — да замылся Флегон, узнав, что Мондадори в Италии ещё раньше выполнил эту задачу.) Английский судья Брайтман запретил Флегону английское издание «Августа» (тогда Флегон стал продавать его за пределами Великобритании), но при этом вынес и расширительное важное решение: что хождение в самиздате не может рассматриваться как первое издание книги и, значит, копирайт не принадлежит Советскому Союзу. Это создавало британский прецедент и на будущее защищало право самиздатских авторов быть владельцами своих книг. (Впрочем, английский суд не довёл дело до конца: непобедимый в судах Флегон если и проигрывает, то ничего не платит, объявляя себя банкротом, а через несколько лет это даёт ему право утверждать, что раз суд не назначил ему платить штраф и судебные расходы — значит, он и виноват не был.)

Итак с доктором Хеебом, от первых недель после моей доверенности, я дерзко затеял переписку открытую, через советскую почту, — пустопорожнюю, но респектабельную, пусть цензура читает. (Мои русские письма он пересылал потом Бетте, она переводила ему по телефону, а его ответные ко мне немецкие я легко читал.) Иногда и так я использовал эту переписку: предупреждал (гебистов...), в чём твёрдо не уступлю ни за что, или какие козни тут против меня готовятся. И ГБ — из расчёта? из собственного интереса? — этой переписке почти не мешало.

Попросил я Хееба прислать его фотокарточку — прислал. Ох, какой солидный, пожилой, сколько основательности в его широкой крупной голове на широких плечах. И — с трубкой в поднесённой ко рту руке, задумчиво, — положительный тип! Однажды поехал к нему в Швейцарию с плёнками Стиг Фредриксон — очень хвалил, понравился тот ему: внушительный, серьёзный.

А однажды, вместо письма, приходит (на московский наш адрес, на Тверской) извещение на моё имя о ценной посылке от Хееба. А я-то — в Жуковке, у Ростроповича; пыталась Аля как-нибудь получить без меня — нет, только лично сам, и с паспортом. А мне выезжать в Москву по заказу — зарез: каждый раз что-нибудь секретное на руках, а дом остаётся пустой, надо основательно прятать. По сплошной моей работе выезжаю в Москву не часто, и всегда тамошний день плотно нагружен. Но и откладывать же нельзя: наверняка что-нибудь очень важное. А пояснительного письма о посылке нет. Наконец поехал, добрался до Центрального телеграфа, получил какую-то крупную, но лёгкую коробку. Принёс домой, Аля распечатала: некий шарабан на деревянных колёсах, игрушка для детей — подарок от фрау Хееб. Милое добродушие... Нет, двум мирам друг друга не понять.

Пишу Хеебу, «по левой», летом 1971: «Эти полтора года, как Вы вошли в свои права, я испытываю большое моральное облегчение, даже покой: знаю,

что Вы твёрдо защищаете и оберегаете меня от неприятных случайностей. Благодарю Вас за неоценимую поддержку. Считаю Вашу деятельность безупречной и достойной восхищения». Настойчиво прошу не ограничивать себя в оплате своего труда, «иначе Вы причините мне боль». И беспокоюсь: «чтобы Вы не слишком измучились из-за огромности моих задач». А тут начали в Европе ворчать, подозревать: что за странная личность этот Хееб, у него какие-то коммунистические связи, не обманывает ли он Солженицына, не от КГБ ли Хееб к нему приставлен? (что это? и старики Андреевы говорили...). Я в сентябре 1971 пишу ему и в легальном письме: «Готов публично в самых сильных выражениях заявить, что высочайше ставлю Вашу честность и Ваши отличные деловые качества и не мог бы желать себе адвоката лучше Вас». В одном только не доверяю ему и настойчиво спрашиваю Бетту: хорошо ли он контору свою запирает? Да пусть моих главных рукописей не держит ни в конторе, ни дома, а только в банковских подвалах.

То в одном, то в другом адвокат помогает незаменимо — по вопросам, которые тогда казались жгучими. Припёрло ли меня публично оправдаться (против советской власти), что я западных гонораров не беру, они предназначаются для общественного использования на родине, а трачу только средства из Нобелевской премии, — Хееб заявляет. Защита. Нужно ли осудить возможные на Западе безответственные биографии мои (Файфер) или возможную публикацию моих частных писем (Решетовская), — Хееб делает это, и ведущие мировые газеты охотно предоставляют ему место. Или врут в газетах обо мне Советы, что у меня якобы три автомобиля, два дома, — Хееб солидно опровергает эту чушь. А иногда само существование адвоката начинает удерживать ЦК—ГБ от некоторых шагов: так, Жорес Медведев основательно предполагает, что в 1970 году провокационный их замысел опубликовать «Пир победителей» на Западе остановила боязнь контрдействий адвоката: стало бы во всяком случае ясно, что *не я* опубликовал пьесу.

Ну что ж, мои поощрения открывали доктору Хеебу все возможности действий. Он — и действовал. А важно ведя открытую переписку — никогда ничего не добавлял *по левой* через Бетту, то есть о его реальной деятельности; ни разу не сообщил, не спросил, не посоветовался ни о чём существенном, — так, наверно, или дел таких нет, или и так всё ясно? Его сдержанность как раз и производила самое внушающее, солидное впечатление: значит, уверенно, профессионально ведёт, всё знает.

Правда, Хееб не раз порывался приехать ко мне в Москву! — уж как я его отговаривал, то-то был бы ляп, игра для КГБ, под какими потолками мы бы с ним беседовали? ничего б мы тут не прояснили. (Позже я понял, что влекла его больше — слабость к путешествиям и к представительности.)

Что ж до слухов, что Хееб коммунист, то постепенно узналось: да, до 1956 был коммунист, но после венгерского подавления в виде протеста перешёл в социалисты. Вот те на! Знал бы я это раньше — сильно бы задумался. А всё объяснялось просто: Бетта была человек скорее даже советского опыта, чем западного, потому нам с нею и было так понятно и легко. А ведя в Австрии жизнь университетского преподавателя, сама с адвокатским кругом почти не сталкивалась. А знакомые Бетты были — скорее и больше по коммунистической линии, по её происхождению, оттуда и рекомендация. Но мелочь такую о Хеебе она нам не сказала или важной не сочла. Выбор её оказался не весьма совершенным, да. Однако совсем не потому, что Хееб был бывший коммунист, его коммунизм во всей дальнейшей истории никакой вредной роли не сыграл. Да мы даже утешали себя, что прозревший коммунист — это уже человек с хорошим опытом, на советской мякине не попадётся!

Так как же достался «Август» «Бодли Хэду»? Уместно объяснить тут, хотя узнал я, дознался об этом только осенью 1974, больше полугода проживая в Цюрихе. Оказалось: весной 1970 Хееб предложил «Бодли Хэду» переговоры об их незаконной публикации «Ракового корпуса». И, не состязаясь в достоинстве, сам же и поехал в Лондон. А издательство «Бодли Хэд» загородилось

лордом Беттелом, что «все права» на «Раковый корпус» и на «Оленя» — у него. И Хееб повёл переговоры с Беттелом... Как раз к этому времени подошло к Хеебу моё письмо из Советского Союза, что Личко никаких полномочий не имел, это мошенничество. И была же раньше моя газетная публикация, что ни за кем не признаю прав на «Корпус». Хееб попал в большое затруднение. Формально он имел права объявить издание «Бодли Хэда» пиратским — но оно не только уже осуществилось, но и главный тираж схлынул, прочли, и перевод неплохой. А мне — уже два года прошло — никаких кар за «Корпус» не последовало. Да и по мирности характера никак не хотел Хееб затевать скандала. Но сверх того заверил захватчиков, что действия их были вполне честными и он как адвокат готов это юридически подтвердить. Переговоры ещё продлились до осени, а тут мне дали Нобелевскую премию, и вот-вот я должен был сам приехать на Запад (и разобраться?). Но, проявляя завидную авторитетность, Хееб за месяц до ожидаемого моего приезда подписал дополнение к их прежнему договору, где его признавали безусловным моим представителем, а он признавал действия Беттела и «Бодли Хэда» *абсолютно* законными (даже ещё благодарил их устно от моего имени) и утверждал за ними вечные права на два моих произведения — уже начиная запутывать и мои будущие издательские дела. При таких дружеских отношениях передал он «Бодли Хэду» и «Август». (По понятиям западных издательств появление у «Бодли Хэда» теперь ещё и «Августа» — косвенно подтверждало, что и отдача им «Ракового корпуса» была авторизована...)

Тем временем Хееб, уже с мировой знаменитостью, о нём писали в больших газетах, фотографировали, сменил свою скромную конторку на пышней — и в январе 1972 к нему туда нагрянула изыскливая Ольга Карлайл и пробивной адвокат Курто, они уже издали разгадали нашего Хееба. Они приехали *признать* его, и даже тоже готовы переводить ему гонорары автора, если он предварительно утвердит их смету расходов и заработков (почти половину авторских гонораров, и это при бесплатном переводе Уитни) и оставит у них ещё финансовый резерв — на случай разных неустоек, чтобы расплачивался автор. Если же Хееб сметы не подпишет, то они его не признают, и не переводят ему ни доллара. Представленная смета была дутой, смехотворной. При любви семьи Карлайлов к русской литературе — литературный зять Генри Карлайл объявлял себя «агентом», с 15% комиссионных, — за передачу плёнки романа в издательство? Затем Ольга брала за «участие в переводе „Круга“», за «сопереvod и редактирование „Архипелага“», за «редакторское наблюдение». Затем — поездки, даже в Нью-Йорк со своей коннектикутской дачи, какие-то стенографистки, телефон, телеграф, почта, такси, полёты в Европу, отели, ресторанные обеды. Перед таким напором и такой убедительной документальностью мой Хееб нашёл предлагаемую сделку *ободрительной* — и всё подписал. Не знаю, хоть прочёл он при этом их колониальный к автору договор с «Харпером» или даже не читал. Карлайл и Курто уехали в ликование, и с этого-то момента Карлайлы так ласково переменялись к Хеебу, признавая, что адвокат у нас, конечно, должен быть.

Так же задним числом утвердил он договор «Харпера», которым тот продал мировые права на экранизацию «Круга». Тот поспешный поверхностный фильм оказался крайне неудачным, а на долгие годы вперёд заклинил достойную экранизацию.

Одни сплошные кругом наживы, расчёты, — и вообразить нельзя, что всё это копошение — вокруг огненной *там*, в СССР, мятели. Пока мы там бьёмся — а нам отсюда грызут спину.

А Хееб попал как кур в ошип. Он был и оставался маленьким локальным адвокатом, занятым до сих пор одними бытовыми делами, — и вдруг мировые литературные? Не попытался он, бедняга, властно исправить многолетний дурной ход с моими изданиями, но прежде искал, чтоб издатели хоть бы признали его (тем самым потекут и первые средства, на что ему оборачиваться). А при таком направлении лучший путь для него оказался, по сути, путь капиту-

ляций: признавать законными совершённые до него беззакония. (А если не признавать — то опять же судиться?.. И на какие средства? Чтó тут выдумаешь?) И — ни об одном таком шаге он не спросил меня и не посоветовался.

Осенью 1972 Ольга Карлайл заверяет Бетту (у них была прямая встреча, неприязненная), что английский перевод «Архипелага» (за 4 года!) «вчера готов». (На самом деле Уитни был уже два года как остановлен, а Карлайлы так и не домучили «обработки» 1-го тома.) Бетта встречно сообщает ей, что от меня есть распоряжение начать переводы на другие языки (но при этом не просит у неё русского текста). А за Карлайлами остаётся, как и было, лишь американское издание «Архипелага», однако договор с «Харпером» от моего имени будет заключать Хееб.

Карлайл сразу и с негодованием отказалась от такого распределения ролей: тогда они перестанут сотрудничать с нами! Как? мировой контроль упущен? «Архипелаг» не будет принадлежать им всецело, как раньше «Круг»?!! И какую дальше славу или выгоду сулит издание уитневского перевода у «Харпера», под чужим контролем? Добыча была в руках и уплыла. А тут же и какой удар самолюбию! Выясняется постепенно нам, что Ольга уже нахвастала «Харперу», что передаст им мировые права на «Архипелаг», — и вот?.. В ту осень опять приезжали в Москву старики Андреевы, передавали резкое недовольство дочери, — да ещё ж от нас стояла угроза проверки качества английского перевода «Архипелага» (ожегшись на «Круге»), — а «Харпер», напротив, налакомившись на «Круге», требовал себе и по «Архипелагу» льготных, если не подавляющих, финансовых условий. (И всё ж это пишется на бумажках, «под потолками», потом бумажки сжигать, а в окно выглядывать, нет ли *топтун*ов, всегда такая сдавленность, и в ней надо принимать решения.) Для сохранения добрых отношений я и тут уступил Карлайлам все англоязычные страны, старики увезли такую уступку, — нет!!! Карлайлы были возмущены каким бы то ни было ограничением их мировых прав.

А если так — зачем им дальше вся эта история, не лучше ли действительно разорвать? (После того, как Хееб утвердил им предыдущие «расходы», у них и за прошлое руки свободны.)

Нигде, как здесь, наглядно обнажается полная холодность О. Карлайл к русской литературной традиции, к которой она будто бы принадлежит и по рождению и по духу, о чём не раз декларировала. В апреле 1973, сидя под чёрными тучами, я *по левой*, с двухмесячным опозданием, получил поразившее меня февральское письмо О. Карлайл, бравирующее дерзостью. Она сообщает как о «необратимо решённом», что они не могут выполнять роль «партнёров»: «при разделении ответственности» они «теряют возможность достичь качества мировой публикации, какое было получено в случае „Круга“» (когда бросили роман на разрыв и глумление над текстом). И ещё, оказывается, «риск оглашения нашей прошлой и настоящей деятельности становится неприемлемо высоким», — для них? нет, собою они жертвуют, но «по отношению к вам и к другим замешанным в это дело друзьям». Да почему же в качестве участников отдельного скрытного перевода, во всех внешних сношениях заслонённые моим адвокатом, они будут обнаружены и разглашены, — а сами бы, ведя мировую операцию и все отношения, не будут? Так и не смогли упрятать, что рвут они лишь оттого, что не получили мирового копирайта «Архипелага». Итак, «с чувством грусти, но и гордости, что они содействовали мировому успеху моего творчества» (вывели меня в люди), они совершают «полный уход» от этого высокоценного ими «Архипелага», они более не могут участвовать в переводе (не осталось вещественных доказательств, чтоб они в нём и участвовали за 5 лет), сам же перевод «в форме первого наброска» и все на него права — за Томасом Уитни, к которому и следует обращаться. «Первый набросок» перевода — через 5 лет...

Эта тяжкая наша весна 1973. И ГБ послало предупреждение (через Синявскую-Розанову, она с ними интенсивно общалась, обговаривая скорый отъезд

своей семьи во Францию), что если я добровольно не уеду из Союза — меня посадят и отправят умирать на Колыму. Нераздираемые нарастающие наши бремена, ощущение надвигаемых ударов ГБ. И — такое письмо! Как оскорбительно, стыдно читать его в нашем подпольи. Значит, вся пятилетняя надежда, что «Архипелаг» спасён, переводится и грянет, — рухнула. Что за доводы на хилых ножках, мелочная обида, — и ещё привязывают нас юридическими петлями к переводу, не сдвинутому за 5 лет!

Если б мы знали, какой верный добрый Уитни и его истинное соотношение с Карлайлами в работе, — так мы б не так горевали, баба с возу — кобыле легче. Но вот нас юридически связывают с неоконченным переводом, ни страницы переведенного не дав, ни даже русского текста, — и ничего уже не обещая. То есть даже запрещают начать английский перевод заново.

Я ответил горячо. Не могу предположить, что, имея 5 лет дело с «Архипелагом», они остались равнодушны к духу его. Он — не литературный товар, а звено русской истории. Однако ваше письмо пренебрегает именно этим духом. Издательства получают от книги небольшой доход, таковы будут мои условия, книги не должны продаваться по безумным западным ценам. И — снова я просил их передумать и остаться на переводе. (Да может старики пристыдят её.) А если нет, я вижу один путь (никто не возьмётся исправлять чужой сырой материал; не вижу, как спасать работу в хаотическом состоянии): оплатить весь перевод, сделанный по сей день, — и предать огню в присутствии доктора Хееба. Перевод по-английски мы начнём заново (все права на перевод — у Томаса Уитни...).

И уже не требовал от них русского текста, того моленного, первого, — а его тоже сжечь!

Горечь в горле стояла ужасная. Ощущение провала в излеченном деле.

Это моё «левое» письмо долетело до Карлайл быстро — и тотчас же слала она мне гневный ответ: они действовали только из любви к России и при таком бескорыстии заподозрены в коммерческих интересах! да будь это прежние времена, она прибегла бы к защите её отца, чтоб он вызвал меня *на дуэль* за оскорбление чести дочери. («Дуэль» — когда я из-под обстрела не вылезая.) А между тем — она меня «сделала известным на Западе и помогла получить Нобелевскую премию», вот как!.. Теперь она указывала и ещё одну причину разрыва: что я недоволен их переводом «Круга». Но об этом она знала от родителей уже три года назад, а ссылалась, будто впервые узнаёт через Бетту (и опять — чтобы скрыть заядлую причину: утерю надежды на мировой копирейт).

Весьма дурным русским словом хотелось её назвать.

Успел я предупредить Хееба: ни в коем случае не ехать, как он собирался, за океан к Карлайлам, не надо кланяться. Он получил моё письмо вовремя и всё равно упрямо поехал в июне в Нью-Йорк, с женой (страсть путешествовать). Уронил мою позицию — и решительно ничего не продвинул. Нежно и пусто провёл время в гостях у Карлайлов. (Она теперь пишет в книге: он и не спрашивал у неё английского перевода «Архипелага», — тогда и вовсе зачем ездил? А Хееб говорит: они отказались дать, перевод не готов. Так оно потом и оказалось: не готов.) Не сделал и попытки познакомиться с Уитни (или не свели их). И вернулся в Европу с пустыми руками.

А к концу лета — был схвачен «Архипелаг» гебистами, погибла Воронянская, — и я отчаянно дёрнул дальний взрывной шнур «Архипелага». А взорваться было — только тому, что расстарались мы в последнее время: немецкому да шведскому изданию. Главное же, англо-американское, решающее весь ход мирового общественного мнения, — вот, не оказалось готово. Только тут Карлайлы вернули Уитни перевод (который и содержался не у него, оказывается), и он кинулся работать. Только в октябре 1973 приехал Курто из Штатов, привёз Хеебу лишь 1-й том «Архипелага», неготовый перевод Уитни, над которым ещё предстояло поработать вместе с экспертами. А перевод последующих томов Уитни ещё продолжал.

Вот так мы передали плёнку «Архипелага» в «чистые руки», ещё и наследнице русской литературной семьи. Как саранча налетела и поела плод доверчивой дружбы старших поколений, и память замученных.

И вдруг, чего нельзя было ожидать, я оказался на Западе. Энергичная дама, очевидно, забеспокоилась. Она была безупречна за подписью Хееба и пока я сидел в восточной клетке — а что теперь? Она не стала бездейственно ждать, но кинулась навстречу ожидаемой опасности: поехала в Европу искать встречи со мной.

А я первые несколько недель после высылки ведь не сознавал всего отчётливо, да многого пока и не знал. Ещё семья в Москве. Ещё висит судьба архива — удастся ли вывезти его? Да может трёх дней в Цюрихе не прошло, как Хееб повлёк меня в английский консулат, давать показания о пиратстве Флегона. Ещё надо изрядно потолкаться на Западе, чтобы получить отвращение к судам. И я еду как в тумане. Дурную штуку сыграли со мной, втавивши неосмысленно в этот суд, — но и с другой же стороны: если не пресечь Флегона, значит признать, что у меня нет авторских прав на «Архипелаг», даже когда я за границей?

И вот — на второй же день в Цюрихе — телеграмма из Вашингтона: теплейшие поздравления и молиты за прибытие моей семьи; знает, что даже в изгнании я осуществлю свою миссию; посетит родителей в Женеве в марте и надеется увидеть меня, Ольга Карлайл.

Не помню, когда я эту телеграмму увидел в ворохе и дошла ли до моего сознания, но следом письмо из Женевы: я уже у родителей, очень хочу с вами встретиться, могу приехать в Цюрих на несколько часов; и везу вам приглашение на годовой съезд американского Пен-клуба; и очень беспокоимся о Наталье Ивановне (Еве); и — ото всего сердца обнимаю вас, и мой муж и мои родители передают вам самый дружеский привет. И от отца её письмо: очень-очень просит, чтоб я принял дочь.

И я — забыл недавнее жжение? весь разрыв, их вероломное уклонение, тяжку «Архипелага», как они крылья нам подрезали? Да, всё забыл. Уже год прошёл — грозный, сожигающий год, не тем я был занят, я забыл свою обиду, утерял даже в памяти или не сознавал ясно, что они заморозили «Архипелаг» из-за мирового копирайта. Да, казалось мне: взорвись американский «Архипелаг» в январе 1974, в двух миллионах экземпляров, как позже было, — да дрогнули бы большевики меня и выслать. Но сейчас уж что, всё равно ощущение победителя — и что тут считаться? все мы — близкие тайные сотрудники, всё можно по-хорошему, и отчего бы им сейчас не двинуть перевод «Архипелага» быстро, всем вместе? И написал: приезжайте.

Приехала. С остро-нащупывающей улыбкой. А я — уже запросто. Всё прошло как прошло, я не корил её прошлогодним письмом. Я попросил, чтоб она передала мне их редактуру 2-го и 3-го тома, — она извивистым выражением растянула, что — нет. Не дадут. (Так мы никогда и не увидели той их редакции.) Я спросил: достаточно ли оплачены их с мужем труды? (У Хееба ещё не успел узнать, а сам он мне ничего не докладывал.) Она в колебании потянула: «Да-а, даже чуть больше». Ну хорошо, значит, в расчёте. (А она — выясняла, в разведке и был, очевидно, весь смысл её приезда: как я отношусь к её сделке с Хеебом, не начну ли трясти. Уже 5 недель, как я общался с Хеебом, и какой же западный человек может вообразить, что я у него не потребовал финансовых отчётов? А мы с ним — и ещё вперед 5 месяцев не заговорим, не разберёмся.) И — ничего больше в той встрече не было, пустой час за чайным столом, я был как в сером тумане, не домысливая. Но всю эту встречу она потом ядовито изукрасила для своей книги моими якобы пророческими вещаниями, командным голосом, — урок мне, и всем: что никогда не надо лишних встреч с сомнительными людьми, давать им повод лжесвидетельствовать. Как вообще не надо было встречаться с Ольгой Карлайл никогда. Если бы заботы о «Круге» я поручил первому встречному в Москве западному туристу — вероятно, результат был бы не намного хуже.

В последующие месяцы ни к какому допереводу «Архипелага» Карлайлы, разумеется, не присоединились.

А в октябре того года мы с Алей были в Женеве и встретились со стариками Андреевыми — впервые не под советским оком, не надо исписывать молчалисты, можно говорить обо всём под потолками. А — не поговорилось что-то. Печальная старость в полунищете, малая пенсия от ООН, где Вадим Леонидович раньше служил. Положение В. Л. как советского гражданина отрывало его от эмиграции, ему тут не доверяли, одиночество. Какими всеильными они казались мне десять лет назад в комнатке Евы, когда зависело от них взять или не взять плёнку, вся моя судьба. Какими беспомощными и покинутыми — теперь. И сегодня говорить им о проделках их дочери, выяснять — только растревлять. Да Вадим-то Леонидович когда-то любовно готовился набирать «Архипелаг» сам по-русски, и шрифты покупал, и составлял словарики блатных выражений. И Андреевы в тот вечер тоже боялись притронуться к больной теме. Так мы просидели, не обмолвясь о главном, как между нами разладилось, и будто дочери у них никогда отроду не было. Щемливо было их жаль. Вослед наступил промозглый швейцарский ноябрь, послали мы им чек, памятуя прошлое и не слишком полагая, чтобы дочь с ними чем-нибудь поделилась из своего нью-йоркского мельтешения.

Вскоре затем, узнав-таки подробности от Хееба, я при встречах с новым руководителем «Харпера» Ноултоном (если б руководство не сменилось, то, после всего прежнего, я работать с этим издательством и не мог бы) выразил ему своё удивление Карлайлами и предложил издательству самому вытрясти из Курто тот «резерв», который он задержал неизвестно по какой причине, а теперь, от простого лежания денег у него, требовал ещё половину их себе за заботу. Ноултон передал Карлайлам мои недовольства, они забеспокоились.

А блистательный биржевой Курто не только не стыдился, но несмущённо предлагал мне свою помощь по расчёту американских налогов за те годы, когда я был в Союзе, и требовал всего лишь гонорар и дорогу в Цюрих, потом только дорогу, потом ничего, всё бесплатно. Получалось почему-то, что я должен платить налоги и за то, что Карлайлы тратили, расчёта того я никогда так и не понял, а заплатил, чтоб отвязались. Мне оставалось относительно Карлайлов — только игнорирование.

Но когда в 1975 я ездил по Штатам — Карлайлы не выдержали и игнорирования, уж за прошлые годы как они, наверно, расхвастались нашей близостью — но, вот, и не встречаемся. А новый директор издательства уже знал о моём недовольстве ими, и это, очевидно, распространилось в их кругу. Теперь она писала, что требуют встречи и объяснений. Их письма достигали меня окольной передачей. Ну, только сейчас, в бурно-политическую поездку по Штатам, буду я с ними объясняться, снова и снова перемалывать эту мучительную историю? в ваших руках были все пути, вы распорядились, хватит. Не ответил им. И прошла ещё одна зима, в 1976 я снова уехал в Штаты. И сразу же в те дни Аля в Цюрихе получила письмо от Вадима Леонидовича на моё имя. Три года назад Ольга сверкнула обещанием послать своего бедного отца «на дуэль» за свою честь, теперь она и заставила его написать письмо, видимо тяжело ему давшееся, болезненно написанное, явно через силу. Он писал, что я проявляю несправедливость к его дочери, и в этом я неправ, и ему больно. (Вот и урок: мы тогда в Женеве пожалели, смолчали, а надо всегда всё начистоту выяснять.) Двух дней письмо у нас не пролежало — раздался телефонный звонок: В. Л. скончался, и вдова его просит почему-то немедленно вернуть письмо, чтоб оно как бы не существовало. Через два часа о том же позвонила и Ольга из Нью-Йорка. Аля отослала письмо назад.

Видимо, с 1975, если не раньше, О. К. и задумала, для оправданий и насыщения честолюбия, свою безрассудную книгу — и куда же делись недавние заботы о «замешанных в дело друзьях»? Открывая себя, О. К. и открывала: кто же связал меня с ней? Для ГБ не составляло труда рассчитать общих наших московских друзей: Ева, А. Угримов и Царевна. Накидывала им петлю на шею, хоть лети их головы!

Лети их головы, но мир должен знать, как тонкая, талантливая, благородная Ольга Карлайл отдала вместе с мужем 6 (шесть!) лет жизни Солженицыну, чтобы «сдвинуть гору» (напечатать роман, имея готовую плёнку), «превратилась в компьютер», «годы сплошной работы», до 18 часов в день, и «почти не вознаграждённые», и на каждом шагу «масса риска» (где? в чём?), «мы перестали жить как люди», на телефон клали подушку (?), «сяду в тюрьму, но никогда его не выдам» (какая тюрьма ей грозила на Западе?), да что там! — отдав Солженицыну и всю свою жизнь, ибо она на эти годы «отложила всю свою работу», — теперь она уже, мол, не станет художницей, и «погибла карьера журналистки», и «потеряла родину своих отцов» (сперва за свои статьи о диссидентах, теперь именно благодаря этой книге), — а Солженицын ответил неблагодарностью и более не разговаривает с ней. (Столь ловко написала, все поняли так, что она безумно «рисковала жизнью», самолично вывозя «Архипелаг» из СССР, — и как же все сочувствовали её невозблагодарённым жертвам!)

Все близкие и друзья (и Уитни) отговаривали О. К. В 1977 приезжала на Запад Ева, отговаривала и Ева, напоминая о судьбе своей и других угрожаемых, — О. К. только фыркала: «ты имеешь свободу не возвращаться в Советский Союз!» Уже с осени 1977 потекла в американских газетах бурная реклама книги; повсюду Карлайл, захлёбываясь, трубила о книге, особенно — и верно — рассчитывая на успех среди неприязненной ко мне нью-йоркской образованщины — такими уничтожающими уколами, например, что я несочувственник их антивоенно-вьетнамского движения, или что я недоброжелатель западной прессы. (От этой образованщины она и впитывала заказ, как желательно изображать меня: авторитарным Командором, и именно так выписывала.) Ещё весной 1978 О. К. рвалась опять зачем-то со мной встречаться, даже приехать в Вермонт, ещё какие-то переговоры (или иметь лишнюю встречу для «живого описания»?). Я опять не ответил.

И наконец, вот, книга вышла. На самом верху, где надо бы писать автора, — моя фамилия, крупно, чтобы привлечь. И обещающий заголовок — «Солженицын и Секретный Круг!» По срокам выхода книга Карлайл совпала с англо-американским изданием загубленного ею 3-го тома «Архипелага», так что рецензенты, а многие из них ленивы и неразборчивы, объединяли эти книги на равной основе. (Пять лет проведив назреванию американского издания «Архипелага», О. К. теперь посильно повредила ему ещё при выходе.) И суть рецензий открывалась уже не в узниках «Архипелага», но в том, что чувствовала и как страдала эта тонкая женщина, которая сделала из незаметного русского автора коротких рассказов — мнимо-титаническую фигуру для Запада, потративши вместе с мужем 7 (уже) лет своей жизни, тяжёлой работы, для лучших переводов и устройства его книг, — и взамен испытала такую неблагодарность. Книга Карлайл имела, как говорится, «хорошую прессу» в Штатах, крупные американские издания поддерживали и внедряли её версию. Рецензенты всё же призывали простить неуравновешенному, бешеному автору «Архипелага» его паранойю (так прямо и выражались — паранойю, это американская пресса допускает, это не оскорбление), — ведь вот Карлайл простила, и «книга её написана без горечи».

Но с хорошо рассчитанным ядом, накопительным от страницы к странице. Нарастающе представлен я: честолюбивым, властолюбивым, взбалмошным, неоправданно часто и круто меняющим свои решения (в таких десято-зеркальных изломах сюда достигает наша тамошняя изломистая борьба: «мир интриг», «русские шарады»). Настолько одержимым, необузданным, фанатичным, подозрительным, что и вполне на грани паранойи. «Страшный человек», «он воспитан в той же системе ценностей, как и его враги», «ловкий зэк выходит на поверхность», «авторитарная фигура», «для него человеческие связи — ничтожные помехи», — вероятно, не всё это состроила она сама, но уже отпечатывается лик, который будет стандартно тиражировать западная пресса. О. К. присочиняет и вовсе не бывшие в Москве между нами встречи, а уж бывшие наполняет вольными сочинениями, благо не было свидетелей и никто никогда не проверит: дерёт из «Телёнка»,

* Потрудилась как никогда прежде, выпустила и французское издание, там прямо всю обложку моя фотография, покупайте! (Примеч. 1982.)

уже известного всему миру, и вкладывает мне в уста, будто всё это я ей рассказывал доверчиво уже тогда, раньше всех. А уж цюрихская встреча вовсе сведена к карикатуре, и так как надо ей скрыть, о чём мы говорили на самом деле, — она опять крадёт из «Телёнка» такое, чего я при встрече с ней ещё и не знал (сожжение одежды в Лефортове), или «жена упаковывает архивы» — бессмыслица: их, наоборот, надо было расчленить и тайно разослать, этого О. К. не смекнуть. А уж об истории «Архипелага» кривит, как ей выгодно. То якобы я «велел все дела по „Архипелагу“ держать вне сферы Хееба» — невозможная бессмыслица, у Хееба отначала доверенность *полная*, на все дела. То будто О. К. предлагала передать все дела по «Архипелагу» Хеебу, а мы не брали, — ещё один бред. То будто «отредактированную [Карлайлами] версию не хотели видеть», — напротив, Карлайл упрямо её не давала, и отказала Хеебу в Нью-Йорке.

А когда книга О. К. вышла — она к тому же перекрылась грохотом вокруг Гарвардской речи, для неё очень выгодным, — и Карлайл, как эксперт по России, кинулась тут же публично кусать и ту мою речь, что она произносилась и не для Запада вовсе, а для моих «националистических единомышленников» в России, каких-то «русотов». И перепечатывала из газеты в газету, даже и в «Ле Монд дипломатик», во куда. «Русские массы всегда были антисемитские», писала внучка русского писателя, и почему-то «в случае войны могут признать Солженицына за нового Ленина»*.

Но доктор Хееб! — мне предстояло ещё узнавать и узнавать его.

Весной 1973 я ему писал: «Хочу надеяться, что моё письмо остановило вас от дальнейшего ненужного путешествия (в Нью-Йорк, к Карлайл), которое ослабило бы нашу позицию... Вы, как всегда, принимаете наиболее тактичные правильные решения, не устаю восхищаться Вами...» И выражаю надежду, уже не первое лето, что он всё же оставит себе возможность наступающим летом — отдохнуть. (Он и не предполагал лишаться её.) И перехожу на: «Дорогой Фри!»

Настолько не понимал я тогда ни уровня, ни энергии его деятельности. Хотя Никита Струве в «левой» переписке как-то намекнул мне — но ненастойчиво, как он всегда, — что «Юра» (юрист), как ему кажется, растерялся и не справляется. Затем даже и Бетта замечала, что Хееб вял в поиске новых издательств и переводчиков; что он «хороший адвокат, но не организатор». Однако мы в Москве — продолжали считать Хееба орлом, любуясь его солидной фотографией.

А задачи, связанные со мной, были Хеебу, увы, не по силам, совсем и не в профиле его прежней практики.

Схватило ГБ «Архипелаг» в августе 1973 — в вихре катастрофы пишу (*по левой*) Хеебу: «Я понимаю, что ввожу Вас в круг несвойственных Вам обязанностей, но хочу просить Вас все дела с „Архипелагом“ ближайшие полтора года вести самому, не назначать промежуточного посредника: от этого издания зависят судьбы сотен людей, а может быть и более значительные события, — и невозможно доверить чужим людям, втянутым в издательскую рутину и коммерцию. Держите всё дело в своих руках и не стесняйтесь в расходах по штатам... В наступившее тяжёлое время я очень рассчитываю на Вашу мудрость, твёрдость, достоинство и выдержку». И очень сочувствую: «как я много

* Но вот с 1989 я стал в СССР «легальным», книги мои ещё не печатали, однако уж стало можно называть меня. И — кто же из первых кинулся на русскую сцену махать шлейфом и «рассказывать, рассказывать тайны»? — да конечно же опять Ольга Карлайл, опережая и самые мои книги. Всё та же книжка её (может и подправленная, не проверял) — печаталась теперь в «Вопросах литературы» из номера в номер — и ещё рассыпала она по отдельности интервью и отрывки. Можно было и такое прочесть («Столица», 1991, № 27): «публикации [книги Карлайл в США] сопутствовала судебная тяжба, вылившаяся в круглую сумму», — то есть так понять, что я подавал *на её книгу* в суд и содрал с бедняжки круглую сумму... А это: она подавала в суд на меня за «Телёнка», иск на 2 миллиона долларов, да судья отверг её иск, — вот так заливается доверчивым читателям и застывает надолго ложь. (Примеч. 1993.)

нагружаю на Вас. Понимаю, что когда Вы брались защищать мои интересы — Вы не могли себе представить, чтобы столько функций и задач сгустились бы так во времени и настойчиво бы требовали Вашей энергии. Но исключительность ситуации позволяет мне просить Вас и надеяться, что Вы найдёте силы выдержать»... Предполагаю в нём «душевную заинтересованность в деле». — «Все Ваши распоряжения и решения, о которых мне стало известно, я одобряю. А которых и не знаю — не сомневаюсь, что одобрил бы. Всегда благодарен судьбе и посреднику, помогшему мне заручиться именно Вашей помощью. И Вас не должны сдерживать финансовые соображения. Перед началом штормового периода — крепко обнимаю Вас! Всегда на Вас надеюсь!..»

И в конце декабря 1973 — грянул «Архипелаг» по-русски! И в цюрихскую контору Хееба со всего мира звонили, писали, стучали издательства и корреспонденты — а он как раз на эти рождественские две недели наметил уехать отдыхать в южную итальянскую Швейцарию. Так и поступил. Над моей головой в Союзе уже гремели грозы — он отдыхал и не спешил вернуться открывать «Архипелаг» мировую дорогу.

Потом он заседал в новой своей конторе под звоны телефонов, при ворахах нахлынувших писем ко мне. За огромным письменным столом он особенно подавлял внушительностью: эта крупность, эта трубка во рту, эти медленные величавые движения, — очевидно, необычайно сведущ, необычайно много знает. И — мы объяснялись по-немецки, не без усилий, и он часами передавал мне все эти милые, но пустопорожние поздравления и просьбы о встрече. Только не делал движения ничего сказать мне о моих делах: четыре года промолчал — и теперь продолжал молчать.

Я не знал западных обычаев: в какой мере и с какой минуты можно бы осведомиться об отчёте. Как-то раз спросил — Хееб оказался не готов отвечать. Да потом вопросы мои были самые поверхностные, я и после высылки ещё девять месяцев даже отдалённо не предполагал, что тут без меня делалось. Я первые месяцы ещё мыслями не созрел, что при адвокате, действующем 5 лет, здесь, на Западе, мог быть беспорядок. Настолько я не понимал его неприспособленности к моему делу, что ни разу не спросил: да умеет ли он хоть составить литературный договор? — и он, храня самодостоинство, ни разу мне в том не признался.

Так мирно, и по видимости очень успешно, прошло несколько месяцев; вдруг от цюрихских чехов случайно я узнаю, что существует в Цюрихе некий литературный агент Пауль Фриц, который и заключает от моего имени все договоры. Я — не поверил, мне это клеветой показалось: как же бы доктор Фриц Хееб, тут, рядом, стал бы такое от меня скрывать? Я ещё несколько месяцев стеснялся задать ему даже такой и вопрос. Лишь поздней осенью (а Хееб то и дело уезжал отдыхать в южную Швейцарию) опять возник какой-то срочный вопрос и спросить некого, — и нашли мне этого другого Фрица — да из того же самого агентства Линдер, которое уже пустило прахом мой «Круг» в 1968! Он охотно явился и объяснил: Хееб нанял его в мае (уже когда я тут рядом был — и не сказал ни слова!), но твёрдо запретил ему обращаться непосредственно ко мне. Да почему же? — а никак не от нечестности Хееб это так вёл, а — для нетревожимого самодостоинства. (Откупиться от этого Фрица — весьма больших денег потом ещё стоило, чтоб освободил он мои руки по договорам, которые заключал он.)

Лишь осенью 1974 я придумал приглашать моих главных издателей для знакомства. Стали они приезжать, мы заседали в кабинете Хееба, возвышенно-монументального в своём кресле, а мы с издателями, дотоле мне неведомыми, и под перевод В. С. Банкула, знающего все языки, — полукружком на стульях. Я — изумлялся слышимому, а издатели изумлялись, что я до сих пор ничего этого не знал.

И по продрогу тяжелошёкого, прямоугольного лица доктора Хееба — выказывалось, что и он — впервые осознал всё совершённое лишь теперь.

Только тут стала открываться мне картина развала, запутанности всех моих издательских дел и полной связанности рук: ещё не начав движений в этом свободном мире — я был всем обязан, связан, перевязан, — и неизвестно как из этого всего выпутываться. Всюду какие-то дыры и дыры, куда утёк ещё не отвердевший бетон.

Да главное — не было у меня ни времени, ни настроения этим заниматься: я — разгадывал Ленина в Цюрихе.

И я всё время сравнивал людей здесь, на Западе, и людей там, у нас, — и испытывал к западному миру печальное недоумение. Так что ж это? Люди на Западе хуже, что ли, чем у нас? Да нет. Но когда с человеческой природы спрошен всего лишь *юридический* уровень — спущена планка от уровня благородства и чести, даже понятия те почти развеялись ныне, — тогда сколько открывается лазеек для хитрости и недобросовести. Что вынуждает из нас закон — того слишком мало для человечности, — закон *повыше* должен быть и в нашем сердце. К здешнему воздуху холодного юридизма — я решительно не мог привыкнуть.

По горячности мне тою осенью хотелось выступить и публично: что вся система западного книгоиздательства и книготорговли совсем не способствует расцвету духовной культуры. В прежние века писатели писали для малого кружка высоких ценителей — но те направляли художественный вкус, и создавалась высокая литература. А сегодня издатель смотрит, как угодить успешной массовой торговле — так чаще самому непотребному вкусу; книгоиздатели делают подарки книготорговцам, чтоб их ублажить; в свою очередь авторы зависят от милости книгоиздательства; торговля диктует направление литературе. Что в таких условиях великая литература появиться не может, не ждите, она кончилась — несмотря на неограниченные «свободы». Свобода — ещё не независимость, ещё — не духовная высота.

Но я удержался: не все ж издатели таковы.

Столкновение двух непониманий очень резко проявилось в истории с гонорами «Архипелага»: когда я из Союза командовал Хеебу отдавать «Архипелаг» бесплатно или за минимальный гонорар*. Уже того я не понимал, что, по западным понятиям, я этим унижал свою книгу перед читателями: если её дешёво продают — значит, она плохо сбывается, вот и пошла по дешёвке. И уж на что Хееб ничего в издательском деле не понимал, а тут понял, что совсем без гонорара нельзя, даже стыдно. Он разумно возражал мне, что слишком удешевлять нельзя, будет плохая бумага, тесный шрифт. И вместо обычных для автора с известностью 15%, которые все давали, в тот миг дали бы и больше, Хееб стал ставить условием (в заслугу ему запишем) 5%. И — всё. Книги отчасти подешевели, да, но и не слишком заметно. Я приехал — спохватился: ведь все доходы от «Архипелага» я назначил в Русский Общественный Фонд, и в первую очередь для помощи зэкам, а деньги уплывают? Стал я теперь к издателям взывать, вдохновлять: я взял с вас 5% вместо 15, так имейте же совесть, проникнитесь духом этой книги — теперь 5% пожертвуйте сами от себя, в Фонд помощи заключённым. Некоторые и жертвовали (там из-за духа ли книги, или чтоб не утратить моих следующих книг), но почти плакали от трудности: уж лучше б сразу я взял с них 15%, они бы их списали со своих налогов, и всё, — а *жертва* в иностранный Фонд не списывается с налогов, и теперь её надо отдирать от основного капитала издательства. А я ведь этого ничего не понимал, когда затевал!.. Директор швейцарского издательства «Шерц» — тот самый высокорослый, героически защищавший меня на цюрихском вокзале от раздава толпой, — он, по бернскому соседству захвативший от Хееба договор сразу на все три тома «Архипелага» вперёд, теперь ни от чего не зависел, и бессовестно доказывал мне в глаза, что именно из-за мил-

* «Бодался телёнок с дубом», стр. 552.

лионных тиражей он несёт дополнительные неожиданные расходы (де, пришлось арендовать чужие типографии) — и поэтому ничего не может пожертвовать в Фонд.

И ещё первые тома «Архипелага» везде продались сколько-то дешевле, а со второго цены полезли вверх — мол, инфляция, бумага дорожает, — стал и я назначать для Фонда нормальный авторский процент. А уж третий том — Запад мало и читал, устал от *русских ужасов*. Ото всего моего размаху только то и вышло, что Русский Общественный Фонд потерял несколько миллионов долларов. Я, по глупости, думая, что сделаю книгу доступнее широкому читателю на Западе, наказал своих соотечественников в пользу западных издательств, вот и всё.

Ну разве мог я такое вообразить, живя в Советском Союзе? Ну разве можно этот мир сухой представить — нам там, придавленным: жертва — не списывается с налога, и потому невыгодна! Мы, не привыкшие соразмерять жертву с какой-то выгодой, — разве могли этот мир освоить? разве могли принять его в душу?

В СССР, неизносном, мозжащем, все шаги мои были — череда побед. На раздольном свободном Западе все шаги мои (или даже бездействия) оказывались чередой поражений. *Не ошибок* — я здесь не делал? (На родине — несли меня крылья общественной поддержки, были они первое время и за рубежом, но настоятельнее их вдвигалось ко мне лужистое равнодушие дельцов.)

Однако среди тех издательских знакомств осенью 1974 года я не мог сразу не выделить умных душевных издателей французского, католического по своим истокам, издательства «Сёй» (что значит «Порог») — благородного старого Поля Фламана и молодого талантливой Клода Дюрана, которых вскоре привёз в Цюрих Никита Струве. Почтенный Фламан — интеллектual с давней усвоенностью и разработанностью культуры, как это бывает особенно у французов, большой знаток издательского дела. Дюран — неутомимый, живо-сообщительный, даже математичный, остроумный, а к тому же и сам писатель. Ещё в ту первую ознакомительную встречу у меня с ними возникла большая откровенность, они видели мою растерянность, ещё больше её видел (и знал от Али) Никита Струве — и он предложил «Сёю» взять в свои руки ведение моих дел. Фламан и Дюран приехали в Цюрих вторично и согласились взять на своё издательство международную защиту моих авторских прав, всю договорно-распределительную работу с издательствами всего мира. Я предложил Хеебу тут же и передать Дюрану копии всех заключённых (да не им, а агентством Линдера) контрактов. Хееб сперва заявил, что невозможно, это очень длительная работа; потом за четверть часа оскорблённо выложил их все. Только с этого момента, с декабря 1974, мои добрые ангелы Фламан и Дюран постепенно, год от году, разобрали и уладили мои многолетне запутанные издательские дела.

Что Хееб не охватывал моих дел, не успевал почти ни с чем — ладно. Но зачем скрывал, никогда не признался, носил такой солидный вид и передо мной? Очевидно, адвокатское правило: не показывать своей слабости перед клиентом. (А по-русски: насколько сердечней было б, если б он сразу и признался.) Впрочем, в этих ноябрьских беседах с издателями поняв, что ж он натворил, Хееб под Новый, 1975 год с дрожью голоса сделал мне заявление, что он видит: он более мне не нужен, негоден, и подаёт в отставку. И мне стало его жалко: навалили мы на него проблем и дел не по его опыту и кругозору — а непорядочности он никогда нигде не проявил, разве вот с утайкой Линдера. И, жалеючи, я просил его остаться.

И он пробыл моим адвокатом ещё и весь 1975 год. И за эти два швейцарских года Хееб — опять безумышленно, но по самоуверенности и по незнанию собственных швейцарских законов — нанёс мне ещё самый большой вред из всех предыдущих. Но об этом — когда настигнет, впереди.

Глава 3

ЕЩЁ ГОД ПЕРЕКАТИ

Хотя понятно, что вся Земля едина, а всё-таки — другой континент, первый взгляд на него всегда дивен: каким представится? Я увидел первым — Монреаль, и с воздуха он показался мне ужасен, просто нельзя безобразнее выдумать. Встреча — не обещала сердцу. (И в последующие дни, когда я побродил по нему, — впечатление поддержалось. Весь дрожащий от восьмизначного автомобильного движения чудовищный металлический зелёный мост Жака Картье, под который и должен бы я вплыть, если бы пароходом, — и безрадостно задымила бы сразу за ним пивоваренная фабрика с флагами на крыше, и потянулись бы бетонно-промышленные набережные — до того бесчеловечные, что на речном острове остатки старого казарменно-тюремного здания радуют глаз как живые. А глубже в городе — чёрная башня канадского радио, а затем — нелепая тесная группа небоскрёбных коробок среди обширных городских пространств. Монреаль тянулся за «великими городами» Америки, но неспособно.)

Встретил меня условленный сотрудник аэропорта, русский, — хорошо бы мне от самого начала двигаться инкогнито, чтобы впереди меня не неслось, что я ищу участок в Канаде. Мы миновали стороной общий пассажирский выход, толпу, проверку и, кажется, незамеченными ускользнули в дом при храме Петра и Павла, куда я имел рекомендацию от Н. Струве к епископу Американской православной церкви Сильвестру, члену редколлегии «Вестника РСХД». Ему я и открыл цель своей поездки, прося совета и помощи. Там я провёл предпасхальные дни.

Незамеченным? — как бы не так! — дня через три в монреальской газете появилось не только сообщение о моём приезде, но даже и несомненная фотография моя в аэропорту. Да откуда же, будьте вы неладны?! Оказывается: студенты! да, предприимчивые студенты узнали меня издали, сфотографировали телеобъективом, а затем два дня — не ленились! да ведь ради денег! заработать за счёт моего покоя, — ходили по редакциям, убеждая принять материал, а им никто не верил. Страшная досада: перед самым началом тайного поиска меня и обнаруживали. Продали писателя — студенты, ну мирок!

А коли уж всё равно раскрыли и нашёл меня украинский радиокорреспондент — записал я на плёнку пасхальное обращение к православным украинцам*. Украинцев в Канаде — большое расселение. Сдружить украинцев с русскими — чувствую задачу на себе всегда. Украинского — много влилось в меня от деда Щербака, он чисто по-русски и не говорил, да сама речь какая тёплая! и бабка по матери наполовину украинка; и украинские песни известны и вняты мне с детства. И в 1938, когда мы, студенты, на велосипедах дали петлю по всей сельской Украине, — сколько же запечатлелось трогательных мест, стоят сердечным воспоминанием.

Впрочем, не одни студенты меня выдавали в Канаде, потом и более солидные люди, не умея удержать новость или даже намеренно ища связи с прессою. И в первые же дни — в одной, другой, третьей газете уже излагался мой план купить землю и переселиться в Канаду. В окрестностях Монреаля гонялись за мной кинокорреспонденты по дорогам, приходилось хитростями от них уходить. И частная встреча с премьером Трюдо тоже разглашалась в газетах.

В чужом мире действуя, я на каждом шагу ошибался, да ведь и языка не хватало везде, сразу переключиться с немецкого на английский мне было трудно, не тем голова занята. Вся эта встреча с Трюдо была совсем не нужна, но казалось мне, что я должен предупредить правительство о своих намерени-

* «Публицистика», т. 2, стр. 282 — 283.

ях, чтобы не попадать, как со швейцарской полицией, да и получить благоприятствие иммиграционных властей. Я его и получил, но можно было обойтись без премьер-министра, только ненужная разгласка. (И сам разговор, и все темы на той встрече произвели на меня впечатление незначительности, и обидно становилось за эту страну, такую богатую, огромную по размаху, — но робкого великана в толчее дерзких и быстрых.)

Сами поиски удалось устроить активно: дня три повозил меня по комиссиям («риэлторам», — иначе тут домов, участков не покупают) отец Александр Шмеман. Кроме того епископ Сильвестр посоветовал мне обратиться к молодому архитектору Алёше Виноградову. Его родители были из Второй (военного времени) эмиграции, сам он испытал лагеря «ди-пи» (перемещённых лиц) ещё младенцем. Оказался он душевно чистый, уравновешенно-спокойный, с добрым нутряным голосом молодой человек, и жена у него — прелестная Лиза Апраксина, аристократической поросли, из третьего поколения Первой эмиграции. Вырос Алёша в англо-канадском мире и был там вполне свой, но оставался (благодаря родителям) удивительно русским, как будто сейчас из наших мест. Он охотно согласился мне помочь — и мы много поездили с ним по провинции Онтарио. Каждый раз «покупателем» был мой спутник, а я — просто присутствующий приятель. (Вполне как и в Советском Союзе, когда возил меня по тамбовщине Боря Можжев с корреспондентским билетом, всех расспрашивал о сегодняшнем колхозе, а я болтался при нём и высматривал про тамбовское восстание 1920—21 года.) И пересмотрели мы многие десятки предлагаемых мест, и даже на некоторых я как будто уже заставлял себя остановиться, — довольно причудливые скалы вокруг возвышенного озера, уже планировали мы, где что будет построено, иногда и дорогу надо было строить, этого, пожалуй, и не осилить. Искал я место уединённое, в стороне от проезжих путей, это первое, да, но когда-нибудь же и благоустройство? но какие-то же города и школы неподалёку? — мне-то хорошо в пустыне, а какво детей растить? Аля очень беспокоилась.

И после всех заходов нашей изматывающей поездки — всё более становилось понятно, что я ничего не нашёл, что найти очень трудно. Прежде всего оказалась Канада — совсем нисколько не похожа на Россию: дикий малолюдный материк под дыханием северных заливов, много гранита, так что для дороги то и дело продавливаются в нём выемки. Леса? Рисовались роскошные толстоствольные, доброденственные — оказались (в Онтарио, где только и намеревался я остановиться) жиденькие, не на что смотреть, Карельский перешеек: многими годами тут хищнически рвали каждый толстый ствол, вытягивали его тракторами из любой чащи, и оставлена лишь невыразительная болезненная толпа стволиков. Если на участке растут хорошие породы, то об этом даже специально указывают в проспекте. (Позже, из поезда, посмотрел я степную часть Канады — но только что ровная необъятная степь, а тоже за Украину не примешь, много уступает в хуторской живописности.) Да уж тогда были бы хоть города порядочные! — но и по городам отстала Канада, и города, кажется, объята умственной ленью, — зато здоровенные, отъевшиеся тупые хиппи, в этом Канада от цивилизованного мира не отстала, греются на клумбах на солнышке, развалились в уличных креслах среди рабочего дня, болтают, курят, дремлют.

Вообще же: не нейтральны для человеческой личности все места на Земле (как и разные сроки в году): одни ему — дружественны, другие враждебны, иные благоденственны, а те губительны. Надо слушаться сердца, оно помогает угадать верное место жизни. (Например, с детства я с опасением думал о Средней Азии — и именно там развился у меня рак. К Енисею, Байкалу — тянуло, а на Урал нет. Никогда бы не вынес я субтропиков и тропиков.) Но Канада оказывалась не просто северной, а какой-то и беспамятно спящей.

Ещё была у меня мечта — расположиться близ русского населения, — и самим нам дышать родней, и чтобы дети росли в русской среде. Но в Онтарио не было таких посёлков. Познакомили меня с кем-то, связанным с духобора-

ми, — но они в Британской Колумбии, слишком далеко. (К ним я так и не попал, да и вывихнуты они уже из русского, да и ухо переклоняют к большевицким зазывалам, ведут переговоры вернуться в ту страну, которая так невыносима была им при царе.) Ещё оставались в задумке старообрядцы в Штатах, но стал я уже отчаиваться в таком соседстве поселиться.

Десятилетиями вытягивался я весь в мечте избавиться от постоянной шумливости и стеснённости то тюремных лет, то городской, от этих надоедних радиорепродукторов, — да как же ото всего этого вырваться подальше? с таким набранным опытом что надо писателю? только спокойное уединение. Но в Союзе мне было невозможно найти такое уединение, чтобы там можно было построиться, чем топиться, главное — что в рот класть, а ещё главней: чтобы по заглушью не задушило тебя ГБ.

Однако вот и теперь, в 1975, достигнув необъятной воли, и с необходимыми для того деньгами, — не мог найти я себе подходящего приюта. Заманчивые имения видели мы в Канаде только близ самой реки Св. Лаврентия — но они не продавались, они все были заняты устойчивыми первыми поселенцами, наследными семьями «воспов»*, как здесь говорят. (Сама река — изумительно разливна, как лучшие сибирские, с влажным воздухом близ себя, почти как бы морским.) К середине мая я уже, недели за две, устал искать, и без Али не мог принять решения. Срочно вызвал её из Цюриха, вырвал от детей, а сам, отъехавши, ждал в дрянненькой гостинице Пемброка и высиживал дни в зарослях, тоже у реки, в речном воздухе пытался писать.

Алёша привёз Алю прямо с самолёта из Монреаля. Она же прилетела с наросшим в ней сопротивлением: да ни за что из Европы не уезжать! И правда, какой нормальный человек уедет от этой многообразной красавицы, сплочённой древности и культуры? Но позволь, но мы уже решили: не жить нам в Европе, не дадут мне там спокойно работать, везде достанут; и кроме Франции нигде не хочется, а там — язык. Поехали смотреть что-то приблизительно приглаженное — Аля всё решительно забраковала, и особенно — то местечко на каменистом холме близ озера: бурелом, бездорожье, на километры вокруг ни души.

Ну, что делать? Ну, попытаем счастья в Аляске? Нельзя отвергнуть, не взглянув.

Из Оттавы мы с Алей поехали трансканадским экспрессом на тихоокеанское побережье. «Экспресс» — это очень громко сказано, тащится он не слишком быстро, вагоны переклонно побалтывает, уже в таком состоянии рельсы, «экспресс» он — за непересадочность, непрерывность от Атлантического до Тихого океана. Железные дороги Канады в большом упадке, углубляемом уже бессмысленным сосуществованием и соревнованием двух угасающих систем с параллельными путями — Канадская Национальная и Канадская Тихоокеанская (в некоторых местах их рельсы — вплотную рядом, и гонят пустые поезда). Идёт по одному экспрессу в сутки, станции безлюдны (вокзалы бывают за городом, чтоб очищать его от рельсовых путей), все давно летают самолётами, ездят автобусами. К железной дороге уже настолько нет почтения и внимания, что большинство переездов — без шлагбаума, и автомобили покойно пересекают линию не покаясь — а тепловозам (электрификации железных дорог на этом континенте почти и не спрашивай) остаётся перед каждым переездом слитно бизонно гудеть. Так и текут долгие гудки вдоль полосы дороги. На многих станциях нет камер хранения, лишь кое-где — ещё не отмерший, но уже никому и не нужный телеграф. Зато из вагона даже к одиночному пассажиру выходит не только кондуктор, но и портье-негр, помочь с чемоданами. У океана кончает рейс экспресс — и сходит иногда всего человек десять. Но чем более отмирают дороги — тем важнее ведут себя на больших станциях валяжные служащие (все — мужчины): не пускают встречающих на перроны, пресе-

* WASP — White Anglo-Saxon Protestant (белый протестант англосаксонского происхождения. — *Ред.*).

кают, проверяют, объявляют, гонят подземными тоннелями без надобности, а там стоит ещё один дежурный бездельник и только показывает, на какой эскалатор сворачивать. В том, как американский континент сперва далеко проложил, потом отбросил железные дороги, была юная жадная цапчивая манера хватать новое яблоко, надкусывать, бросать ради следующего. В поспешном развитии к новому, к новому — покидалось самое хорошее старое. Однако на многое тут смотришь с завистью, как бы это к нам перенести: на одиночные купе, румэты, где при наименьшем объёме человек обеспечен постелью, столиком, горячей, холодной водой, электрическим током, зеркалом, уборной и кондиционированным воздухом. Если есть с собой продукты, можно три дня из румэта не выходить. Или — возвышенные второзатжные салоны с остеклённой крышей, откуда пассажиры охватывают и обе стороны дороги и небо, непрерывная видовая картина (испорченная, конечно, принудительной постоянной «поп»-музыкой). (Но эти стекло-салоны надо и часто мыть снаружи особым многощёточным вертящимся устройством, через которое протискивается поезд на больших станциях.)

Я с детства очень люблю железные дороги, и отмирание их воспринимаю вторую утерей после отмирания лошадей. Больно. (А в XIX веке и поезда кому-то казались недопустимым гублением природы.)

В Принц-Руперте пересели мы с поезда на аляскинский пароход, он шёл под американским бодрым флагом, и тут мы впервые прошли американский таможенный осмотр. (Он поразил строгостью к рюкзакам странствующих студентов: разворачивали всю их тщательную укладку, перешупывали, искали наркотиков?) Уже даже этот пароход, и потом вроде оторванная и мало-американская Аляска, — куда отличались от расслабленной сонной Канады. Американская атмосфера после канадской — бодрила, и стало у нас всё более поворачиваться: может быть, поселиться в Штатах? Мы не пришли бы к этому так легко, если бы не контраст с Канадой. До сих пор представлялись мне Штаты слишком густо заселённой страной и слишком политически-дёрганой, крикливой. Но начали передаваться нам её раздолье и сила.

А для нас, уже за год истосковавшихся по России, нельзя было начать знакомство со Штатами лучше, чем через Аляску. Кроме самой России — уже такого русского места на Земле не осталось, разве что где сгущённые колонии русских. Ещё Джуно, столица штата, был город американский, но уже и там нас возил, всё показывал, православный священник. А уж Ситха (Ново-Архангельск) встретила нас совсем по-русски, да и русским епископом Григорием Афонским. И это сразу отозвалось в прессе. Пошлый (но мирового распространения) «Ньюсуик» напечатал: «Высланный советский писатель на пороге вступления в православный монастырь, [его] поездка по Канаде и Аляске... — разведывательная экспедиция... найти религиозную общину для себя и рядом дом для семьи... — [да его] возвращение к религии видно и по „Телёнку“, полному пассажиров христианского мистицизма».

У епископа Григория и отец, и дед по матери, и другие в роду были священники. А его юность в Киеве застала уже советская эпоха, затем в 16 лет он попал в немецкую уличную облаву, загребали в оstarбайтеры. (Эшелон на отправке застоялся, прослышавшие матери, среди них и мать Гриши, кинулись на пути, хоть посмотреть на увозимых детей, при удаче — сунуть узелок с бельём.) А будучи «остовцем», Гриша однажды из клочка парижской газеты прочёл, что его родной дядя Афонский, регент православного собора на рю Дарю, даёт концерт хора. Удалось ему связаться, и в конце войны вытянули его в Париж. Позже он кончал в Нью-Йорке Свято-Владимирскую семинарию Американской православной церкви, надо было жениться до принятия сана. Но вопреки его жизненным намерениям это не состоялось, и принял он сан иеромонаха, а затем вскоре и стал епископ. (Позже, гостя у нас в Вермонте, рассказывал свою жизнь, — Аля спросила: «Жалеете, Владыка, что не женились?» Он, с мягкой добродушной своей улыбкой: «Да нет. Жалею только, что остался без детей».)

Полтора́ста лет назад иркутский приходской священник (к концу жизни — Иннокентий Аляскинский) добровольно переехал сюда — просвещать ещё прежде того крещёных, но покинутых вниманием алеутов; переплывал на острова, переводил Евангелие, молитвы и песнопения на местных шесть языков. И вот сегодня священник-алеут, и дьякон-индеец, и все здешние аборигены — на вопрос «кто вы?» отвечают: Russian Orthodox (русский православный). В музее Ситхи — наши старинные иконы, складни, евангелия, посуда щепенная и фарфоровая, старинные медные русские пятаки, рубель и скалка, ступа с пестом, подносы, самовары, щипчики для сахара, серебряные подставки. Но что музей, когда есть реальный архиерейский дом 1842 года, и здесь старомодную гостиную, кабинет, каждый предмет мебели — старинную качалку, стулья с плетёными спинками, клавесин, комод, бюро, шкафы — узнаёшь памятью глаз, или движением чувства или по читанному: вот мы и — в старом губернском городе, ещё почти при жизни Лермонтова. А самовар — по всей Аляске, уже и у американцев, самое модное домашнее украшение.

Здесь, на северо-западе американского материка, — поразишься русской удали, настойчивости, землепроходству (о которых в СССР гудят пропагандно и отмахиваешься). Ведь не с фасадной доступной стороны примыкала к нам Аляска, нет, надо было сперва преодолеть по диагонали непроходимую Сибирь. И тем не менее Дежнёв уже обогнул Чукотку морем в 1648, а Беринг достиг Аляски в 1741. Ещё не царствовала Екатерина — уже основали здесь на острове новый Архангельск, а в 1784 на Кодиаке уже открылась первая школа для алеутов (теперь там православная семинария). Строитель, купец, образователь и пионер Александр Баранов стал как бы губернатором русской Аляски, и до сих пор вспоминают индейцы, что он всегда держал слово, как пришедшие потом американцы не держали. (Прадед нынешнего дьякона присутствовал в 1867 в Ситхе при смене русского флага на американский — и передавал, что индейцы плакали: русские обращались с ними добро, а жестокость американцев к индейцам уже была слишком хорошо известна.) Ещё и далеко на юг внедрились русские, в Калифорнию, и остановились, только встретясь с испанской волной от Мексики; американцы пришли сюда уже третьими. А разобрались ста годами позже, по документам: продала Россия Америке не Аляску как таковую, а лишь право пользования её территорией, отчего Америка ещё и теперь выкупает участки у местных жителей. (Эта продажа Аляски — соблазн истории: что было бы с Америкой, если бы танки большевиков сейчас стояли на Аляске? Вся мировая история могла бы пойти иначе.) После 1917 прервалась тут церковная русская власть — на 120 приходов осталось 5 священников, но эскимосы, алеуты и индейцы дохранили православие тридцать лет, пока пришла православная церковь Американская.

Мы жили у епископа Григория, как будто вернулись в Россию, ещё и в радушии по горло. Стояли на службе его в храме. А после службы плотным кольцом жались к нему ребятишки алеутские (как на нашем бы Севере) и требили: «Биша-Гриша!» («бишоп» — епископ по-английски). Гуляли аллеей Баранова, усыпанной щепой, — огромные белопепельные орлы, а снизу крылья почти чёрные, летали над самыми верхушками деревьев, и проходила от них тень как от самолёта. Даже страшно: вот снизится, схватит когтями Алю в меховом капоре и унесёт.

Было очень холодно, хотя май.

Есть американцы, переезжающие на Аляску, чтобы здесь, в тихой ещё обособленности, нерастраженности, растить своих детей вне современного разложения.

А — нам? а — мне? Нет, пожалуй — это уже слишком заповедник, глубоко в Девятнадцатый век. (Хотя супермаркет — вполне Двадцатого.)

Индейцы племени тлинкит приняли меня в своё племя, подарили почётную дощечку — «Тот, кого слушают».

Однако я что-то долго уже молчал. И не понимал, как своей канадской поездкой оскорбляю Соединённые Штаты, так звавшие меня уже год, — а я

океан перелетел не к ним, и теперь странно входил через Аляску. Необъятен мир, открыты все пути, а свой — единственный, узкий и погонный. Величественно плывёт всенасыщающее время, а своё — так коротко, так недолговечно.

У Али были ограниченные сроки, надо возвращаться к детям. Но ещё бы нам вместе побывать у старообрядцев, приглядеться, как там. На Аляске — лишь одно их село, рыбацкое, и к ним трудно-долго добираться, а вот большое их поселение в штате Орегон. Однако с Аляски легче долететь сперва до Сан-Франциско. А тогда — хоть глазком-то глянуть на Гуверовский институт, с его поразительным за границу русским архивным хранением.

Главная башня Гуверовского института стройно высится над разбросанным малоэтажным кампусом Стэнфордского университета, райски усаженным пальмами. Для сокращения времени многие студенты от корпуса к корпусу проносятся на велосипедах. Сверху башенный колокол отбивает часы, печальный, потусторонний звук.

Времени на Гувер у нас было не больше недели. На эти дни заместитель директора Гуверовского института Ричард Старр (полковник морской пехоты в запасе) усиленно звал нас остановиться у него в доме (просторном калифорнийском доме с крытым зимним садом). Но для независимости отпросились мы в университетскую гостиницу. И были в первый же вечер (субботний) жестоко наказаны. Против нашего окна, метрах в тридцати, был какой-то просторный и возвышенный помост. И вдруг часов с девяти вечера густо повалили молодые люди и — о ужас, дико взорвалась музыка, и на помосте закачалась плотная танцевальная толкучка. Динамики ревели просто неправдоподобно: мы в своей комнате должны были кричать друг другу в ухо, чтобы расслышать хоть слово, а закрывали окно — невтерпёж, по жестокой жаре и отсутствию кондиционера. Студенты — белые и чёрные — танцевали с девушками, как работали: сосредоточенно, неумоимо, ни на кого не глядя. А те, кто стояли по периметру помоста, все до одного держали в руках огромные бумажные стаканы, банки, бутылки, — и выкидывали их прямо под ноги, на наших глазах росла кайма мусора, и зрелищем таким мы были тоже ошарашены. Грохот не утихал час за часом, это была пытка, — и как же нам заснуть? Но в час ночи, что ли, так же совершенно внезапно всё оборвалось. Тишина наступила, как после артобстрела. И тут пришлось нам ещё раз поразиться: толпа мгновенно покинула помост, на нём осталось десятка полтора студентов, которые так же сосредоточенно, быстро и умело — собрали в большие мешки весь мусор, подмели настил и расставили на нём столики, стулья. Через десять минут перед нашими окнами не было ни души, под фонарями покоился чистый помост, и в тёплом ночном воздухе звенели цикады.

За эти дни в Гувере мы подружились с симпатичнейшей парой «вторых» эмигрантов — Николаем Сергеевичем Пашиным (братом писателя Сергея Максимова), профессором русской литературы и языка Стэнфордского университета, и харьковчанкой Еленой Анатольевной, работавшей как раз в Гуверовском институте и обещавшей мне на будущее всяческое содействие. (И оно очень-очень потом пригодилось!)

Да в штате Гувера оказались и многие русскоговорящие, в том числе и славяне, — главный знаток и собиратель архива поляк Звораковский (сразу ввёл меня в общую схему хранения, жаловался, что дирекция уступчива к советским проникновениям), дружелюбный серб Драшкович.

Для занятий нам отвели зал заседаний с преогромным столом, на который теперь несли и несли по моему выбору картотеки, описи, коробки хранения, подшивки, пачки мемуаров, книги, старые газеты. Познакомились мы и с А. М. Бургиной, в годы революции женой Ираклия Церетели, после его смерти — женой социалиста Б. И. Николаевского, собравшего многоизвестный обширный архив. После смерти Николаевского она стала, при Гувере, хранительницей этого архива. (Мне рассказывала и подробности мартовских дней 1917 в Таврическом; сама она, среди четырёх курсисток, была приставлена ко-

мендантом Перетцом наблюдать за арестованными царскими министрами и обслуживать их чаем.)

Поработали мы в четыре руки. Аля взялась за архив Николаевского. Я метался по картотекам и описям, составляя на будущее план работы, но и впиваясь в одни, другие, третьи мемуары, и в никогда не выданные, не слыханные мною редкие издания.

Даже на Сан-Франциско осталось всего часа два, проехали не вылезая из автомобиля. Город — живописен на холмах. Большой китайский район. И грандиозный вид на бухту с высоты, где взнесённой поющей дугой перекинут над Золотыми Воротами долгий мост без опор.

В городе посетили героическую Ариадну Делианич, с её горячей памятью Второй мировой войны, даже и послевоенных концлагерей — английских. Крупная женщина с волевым лицом, теперь через силу волоочёт «Русскую жизнь» на западном побережье — а газета рассыпается, погибает русский и язык, и уходят читатели в мир иной.

Пашины свозили нас и на океанский пологий берег, южней города. Катят валы — ровные, неохватной, неизломанной длины, и метра по два высотой. И так — долго ничто не меняется. Прекрасный пляж — но хотя это 37° широты, а в мае такая ледяная вода, что на пляже — ни души.

Но пора к старообрядцам. Из Сан-Франциско поездом — на север, до, помнится, Сейлема, там взяли мы автомашину напрокат. Штат Орегон в этом месте почти плоский, но своеобразно усеян множеством, множеством мелких узких перелесков, разделяющих земельное пространство на отдельные поля. В солнечный день, ещё раньше чем нам спрашивать нужный посёлок, мы увидели на одном, на другом поле склонённо работающих совершенно русских баб и девочек, в уже отвычных нашему советскому глазу ярких крестьянских сарафанах. Они пололи клубничные посадки (Орегон поставляет клубнику всей Америке). Не веря своему голосу, мы спросили сразу по-русски — и получили чистейшие ответы. Сердце переполнилось до перелива: ну, вот мы вдруг и в России, да какой! Вот здесь бы и поселиться!

Эти старообрядцы, к которым мы пришли первым, оказались — белокрыницкого толку, а корнями из Сибири, в революцию откочевали в Китай («харбинцы»). После прихода Мао уехали в Бразилию. Там тяжело, до испогону работали на плантациях, и семьи всё равно бедствовали. Выбились в Штаты всем народом, с большой помощью Александры Львовны Толстой.

Попали в дом Кирилл и Федосья Куцевых, с семью-восемью детьми (Иов, Анисья, Домна...), и стариков их Петра Фёдоровича и Искитеи Антиповны, пришёл и брат её, настоятель Абрам Антипович. Все они были добротны телесно как на подбор (Кирилл — едва ль не богатырь), светлы душевным настроением, имена их звучали неподдельностью святец, — уж сколько было радушия и радостного разговора. Но! — за один стол старшие сесты с нами не могли! — тут разделительная черта, безумно проведенная нашими предками 300 лет назад, так и не зарубцевалась. Посадили нас — с детьми, а уж угощали на все лады; после нас сели старшие. А с детьми?! — вот задача-то. Говорили нам об этом много. При всей силе духовного влияния в старообрядческих семьях — неизбежно же ходят они в общую американскую школу, и отовсюду же сквозняки вседозволенности — а как им и дальше вступать в американскую жизнь? Но дома стараются утвердить детей в духовной стойкости; телевизора нет, читают по-русски. Соседка-хромоножка учит читать по-славянски. И в одежках детей — всё русское, своешито. И нам с Алей подарили две вышитых цветных рубахи. Фотографировались вместе.

Приходили и другие соседи по посёлку. Из них выделялась судьбой Женя Куликова. Муж её каждое лето рыбачил у берегов Аляски, ходили и к Камчатским берегам, — и вот исчез бесследно, весь баркас, при обстоятельствах неясных: утонул или прихвачен советскими (были какие-то к тому признаки). И вот уже целых пять лет она, молодая цветущая волевая женщина, с тремя детьми, осталась и не вдова и не мужняя жена: если муж её жив — то грех не-

искупимый выйти замуж, а если не жив, то как убедиться? Писала орегонскому конгрессмену, американцы запрашивали Советы — безрезультатно. Просила, не напишу ли я — советской власти? (Аля *по левой*, через Александра Гинзбурга, пробовала узнать, по зэческим связям: может, сидит где в лагере. Нет, никто не слышал.) Переписывались потом с Женей.

Так — и ночевать у старообрядцев не останешься? Вот и поселяйся тут?.. Но было у нас приглашение в соседний бенедиктинский монастырь Маунт Анжель близ Вудбёрна: один тамошний монах, брат Амброзе, объявил себя ревностным православным, старообрядцем, всё время общался с ними тут, а в монастыре устроил старообрядческую часовню, и ему монастырь не препятствовал (старообрядцы сильно озадачивались: нет ли тут цели захвата душ, но пока соседствовали дружно). Там мы и провели две-три ночи.

Тут и Вознесение выпало. Накануне утром, 11-го, поехали на службу в храм к беспоповцам («некрасовцы», сюда приехали из Турции, и тут их зовут «турчане»), но там нас встретили сурово до горечи: в сам храм не пустили, наибольшая уступка — стоять в притворе.

Вот — и свои...

Тем вечером, на всенощную под Вознесение, поехали опять к белокрыницким. Храм набит, мужчины — в чёрных подрясниках, женщины в светлом и ярком, служба долгая и строгая, а все так приветливы. У белокрыницких провели и день Вознесения.

Сколько именно у каждого из нас жизненного времени осталось — знает только Бог, и я особенно чувствовал это в июньские дни 1975. Когда-то в лагере, в Экибастузе, мне приснился весьма отчётливый сон: холодный светлый день, большая высота неба, сорвана, косо повисла балконная дверь — и чей-то ясный голос чётко произнёс мне, что я умру 13 июня 1975 года. Я проснулся с отчётливой же памятью и записал дату в блокнотик — запись цела у меня и посегодня. Тогда казалось: 25 лет впереди, ободряющий сон, да для лагеря! Но что это? — вот откатили уже и все 25 лет. 13-е падало на пятницу, после Вознесения, — и нам показалось разумно: тихо пересидеть этот день в монастыре, никуда не двигаясь.

А ещё в Гувере настиг меня с Восточного побережья Штатов телефонный звонок: Гарвардский университет приглашает на 12-е июня получить почётную степень. Уже звали они меня из Цюриха в 74-м, я отказался, не полетел тогда в Америку. Теперь, вот, опять, — и опять не хотел я специально для этого ломать свой маршрут и лететь через материк. Да ещё же и это 13-е нависает. Отказался. (Обиделись и три года потом не приглашали, всё состоялось лишь в 1978.) И ещё же был звонок: о моём странном въезде в Штаты, как бы не с парадного входа, узнал Джордж Мини, чьё приглашение я тоже отклонил в прошлом году, — и теперь он звал меня выступить на всеамериканском профсоюзном съезде в Вашингтоне, и большом их собрании в Нью-Йорке, но это уже — с конца июня, и я успевал уложить в маршрут все дела и поиски.

Да, в этой стране покою не дадут, затеребят, как же здесь жить? Америка настигала, терзала ещё прежде домового устройства, переезда семьи, скорей, скорей, к нам! нет, к нам! Но — когда же и где говорить иначе? И когда же выступать, как не сейчас, после их вьетнамского поражения? Сейчас наиболее непопулярно будет, что я им скажу, — но и наиболее своевременно. Я согласился.

Однако Але неотложно было ехать домой к малышам. Всё же сговорились, что она попробует ещё раз прилететь на мои выступления. И в Портланде (и тут небоскрёбов нагородили) я посадил её на самолёт — а сам стал возвращаться в Канаду, чтобы снова ехать поездом, теперь к Восточному побережью. И ещё последний раз поискать жильё в Канаде?

Иногда у нас возникают бессвязные предвидения будущего, и порой оказываются они исключительно верны. Произвольно у меня бывали иногда такие; впрочем, потом начинаешь и действовать в этом направлении, так что спутывается предвидение с результатом. В связи с намеченной жизнью в Аме-

рике возникло у меня такое видение (но уже и желание, и намерение): возвращаться в Россию не через Европу (не в Москву, которая ослабленно разделила эти страшные годы России, да и я не московский житель) — а через Тихий океан и Владивосток, тоже не с парадного хода, как и в Штаты въехал, — и потом долго, долго ехать по России, всюду заезжая, знакомясь, — это и будет *вернуться в Россию*. (Если не погонят иначе чрезвычайные обстоятельства — именно так и сделаю.)

И поэтому проезд через Ванкувер был для меня значения повышенного. Без труда купив на вокзале билет, загнавши чемодан в ящик с цифровым замком, с приятным чувством обеспеченности долгой комфортабельной железнодорожной поездки, я часа два гулял на высокой видовой площадке между стоящими серебристыми вагонами Канадской Тихоокеанской и морским портом, откуда уходят корабли, — да наверное же и во Владивосток. Без океанского пролива Ванкувер был бы такой же, как все канадские города, — со столпленной группой небоскрёбов в центре, вертящимися афишами, одноэтажной разбросанностью и уличной разноплеменностью. Но всё менял океанский пролив, горы на той стороне пролива, синеватые, в несколько планов и в сизых туманах. Свинцовые тучи погуливали (на них — пребелый самолёт), уходили пароходы. Я бродил как по хребту своей собственной жизни: отъезжая на восток, различить: поплыву ли когда-нибудь на запад, через самый Крайний Запад — и на наш Дальний Восток?

Весь следующий полный день я пролежал в своём румёте, не поднимаясь: глазами только навстречу движению и во весь окоём. И весь день проходила Британская Колумбия. Неправдоподобная красота Скалистых гор. Они то подступали скалами к самому поезду, вынуждая накрывать пути решётками от камнепадов, загонять в тоннели; подступали иногда так тесно, что железная дорога и шоссе не помещались рядом, уходили в свои тоннели на разных уровнях; а то — отступали в неохватную чашу горной долины, под солнцем и со снежными остатками на верхах, а через пять минут, в другой долине, в клубящихся низких облаках. И река светло-мутно-зелёная, то к поезду вплоть, то отходя, то собиралась в кипящий поток с белыми гребнями, то разливалась ручейками по широкой мелко-каменчатой пойме. И вот здесь леса стояли так леса — крепкие, мощные, чистые; и хвойные — не проглянуть, только не было берёз. Да наверно в Британской Колумбии вот и хорошо бы поселиться, очень здорово. (Впрочем, на Байкале, в распадке, ещё лучше. Потому так и разбросаны наши поиски здесь, что мы — не на родине, у себя-то искать быстрой.) Но где-то есть предел, сколько может человек идти против общих правил. И — разрывало моё вечное противоречие: писать или воевать?

Так славно было в румёте лежать, не вылезать до Пемброка в Онтарио, где мы должны были с Алёшей Виноградовым встретиться, чтобы опять искать. Но решил я сойти и в Виннипеге, канадском украинском центре, повидать украинцев. У них есть подобие зарубежного всеукраинского парламента — Свитовой Конгресс Вильных Украинцев, в нём встречаются иногда разные расколотые украинские направления, и при общем сослужении двух разных украинских церквей — католической и как бы православной (самостийная, с неканоническим выбором епископов в 1918). А русские, разных церквей, напротив — и вообще не встречаются, и церкви их враждуют, двухмиллионная (точной цифры никто не знает) эмиграция рассыпана в мелкие саможивущие ячейки, обречённые раствориться в ничто. И останутся России и повлияют на неё — только книги мыслителей Первой эмиграции, споры между двумя войнами, да мутные выплески публицистов Третьей.

Но что ж у украинцев? Как будто сплочённость — много большая, а странно, какая-то бездейственная: ничего они не делают против советской власти, даже и не выступают весомо, а всё устремление их: жить, жить на Западе, как оно живётся неплохо, и ждать, пока свалится на них с неба освобождение, сразу и от коммунистов и от русских. А уж если применять усилия, борьбу — то они готовы только против москалей. Виделся я с президентом

Конгресса Кушниром, со старшими чинами епархии, ещё собрали человек 20 здешних интеллигентов вечерок поговорить, — и вот такое их настроение я везде уловил — и высказал им открыто: делить наследство много будет желающих, но как его завоевать? Один из присутствующих поддержал меня косвенно, упрекая соотечественников так: а сколько у Петлюры было? только 30 тысяч, а остальные сидели по хатам. (Да, этим самым и ясно, что украинская независимость в 1918 году была надуманной.)

Украинский вопрос — из опаснейших вопросов нашего будущего, он может нанести нам кровавый удар при самом освобождении, и к нему плохо подготовлены умы с обеих сторон. Бремя этого вопроса я постоянно чувствую на себе, во многом по происхождению. Я от души желаю украинцам счастья и хотел бы, чтобы мы совместно с ними и не во вражде правильно решили заклятый вопрос, я хотел бы внести примирение в этот опасный раскол. А ещё: я дружил с западными украинцами в экибастузском Особом лагере, где мы вместе восставали, знаю их непримиримость, и уважаю, как она там преломилась мужественно. В союзе против советской власти — там я не ощущал никакой щели между нами. Думаю, на Украине ещё найдутся многие мои товарищи по лагерю и облегчат будущий разговор. Не легче будет объясняться и с русскими. Как украинцам бесполезно доказывать, что все мы родом и духом из Киева, так и русские представить себе не хотят, что по Днепру народ — иной, и много обид и раздоров посеяно именно большевиками: как всюду и везде, эти убийцы только растревляли и терзали раны, а когда уйдут, оставят нас в гниющем состоянии. Очень трудно будет свести разговор к благоразумию. Но сколько есть у меня голоса и веса — я положу на это. Во всяком случае, знаю и твёрдо объявлю когда-то: возникни, не дай Бог, русско-украинская война — сам не пойду на неё и сыновей своих не пушу.

С Виноградовым посновали мы ещё по Канаде — нет, не находилось подходящего участка. Отлетела душа, не жить мне в этой стране. И предложил я Алёше поискать: может быть — в Соединённых Штатах? Какой тут штат из соседних? Вермонт?

Тем временем мне уже надо было ехать в Вашингтон выступать, да и готовиться же. Переехали в Штаты близ «Тысячи островов». Всякий раз при пересечении канадско-американской границы одно и то же впечатление: переезда в опрятность, твёрдо ведомый простор. Да, видимо, жить — в Соединённых Штатах. И совсем тут не скученно, как представлялось, — куда! И природа здоровая, и леса не порублены, отличные стоят.

Тут находила уже Троица, и ко всеночной мы с Алёшей успели в Джорданский монастырь, я полагал — не там ли мне и остаться готовиться к выступлениям, я упустил, что Троица здесь — престольный праздник, был большой съезд богомольцев, все помещения забиты. Производит впечатление монастырь: в таком далеке вот укоренился, и стоит русский дух, как ни разъедаемый со всех сторон чужою современностью. Но и далеко же пришлось отступать русской Церкви, уехавшей в 1920 на Балканы, на какие-нибудь короткие годы! Кроме монастыря тут — семинария, типография, и, разумеется, повсюду портреты Николая II. В этом — безнадежно, печально отказывает им чувство развития, чувство будущего. И на портале второго, кладбищенского, храма одна надпись — вся о царской семье (они считают их *первомучениками* революции, как-то совсем упуская тысячи расстрелянных *до*). Зато по другую сторону входа — всеобъединяющая: «В молитвенную память всех Вождей и чинов Белого Русского Воинства, Русского Корпуса, Русской Освободительной Армии и всех, в борьбе с безбожным коммунизмом живот свой положивших, в смутах умученных и убиенных, имена Ты, Господи, веси». А у нас, в Союзе, даже произнести эти наименования нельзя без проклятий. А ведь — всё же соединится, всё признаётся когда-то.

Наехавшими русскими были заняты и все гостиницы за двадцать миль от монастыря — и отвёз меня Алёша на озеро Отсиго, северней Куперстауна, я

только потом сообразил, что это места Фенимора Купера, с детства исчитанные. На своей машине Алёша уехал, а я остался на мели в мотельном домике.

Были у меня разбросанные политические заметки последнего года да коротковолновый радиоприёмник со свежими новостями, но они тоже сильно подстёгивали, чего ни тронь. Америка пыталась смазать и скрыть своё мучительное поражение в Индокитае. Да теряла влияние и на Индию. (Как раз в те дни Индира Ганди объявила диктатуру. А разве, правда, Индии — сродна западная демократия? ведь навязали ей как обязательный образец — но совсем не по индийскому самобытному устройству.) Уже и в Африку коммунизм просочился, уже и за Анголу принялись с успехом.

Так ясно мне было, что коммунизм — не вечен, что изнутри — он дуплест, он сильно болен, — но снаружи казался безмерно могуч, и вон как наступал! А наступал потому, что робки были сердца благополучных западных людей, робки именно от их благосостояния. Но против коммунистов, как и против ўрок: надо проявить неуступную твёрдость — и перед твёрдостью они сами уступят, твёрдость они уважают.

Однако — кто же эту твёрдость проявит? С какими ясными взглядами и с каким неуклончивым сердцем должен прийти следующий американский президент? откуда он возьмётся?

Да. Тишина и одиночество, без них бы я не справился. Большой был труд — повернуть и поволочить душу на этот одноразовый быстротекущий политический бой, сперва очень через силу, а потом уже и в разгоне. Труднее всего преодолевать инерцию, менять направление, а уж состоять в принятом движении значительно меньше требует сил. Так я проработал всю Троицу, четыре дня, — и, в общем, обе речи уже наметились: первая — в основном о Советском Союзе как государстве, вторая — о коммунизме как таковом.

Потом заехал за мною русский эмигрант из сенатских сотрудников, В. А. Федяй, темнолицый полтавчанин, сухо-энергичный, и на автомобиле повёз меня в Вашингтон. То было много часов езды и уже одни политические разговоры с ним, передавал он мне жёлчно-лимонное клокотание приправительственных кругов, клубление тамошних интриг, расчётов. Этот клубок оказывался ещё темней и бессердечней, чем я представлял. Страна велась не отзывчивыми человеколюбцами, а прокалёнными политиками. И кого из них, к чему я мог склонить, подвигнуть?

Проехали разнообразно очаровательный «верх» (север) штата Нью-Йорк, потом стандартными дорогами, и к вечеру въехали в Вашингтон. Два первых впечатления были: грандиозный храм мормонов (стоящий особно и допуск не всем) и — в центре столицы одни негры. (Белые отъезжают в дачные пригороды, негры занимают центр, объяснил Федяй, — по мне диковато выглядит.)

Поселил меня Мини в отеле Хилтон, на каком-то высоком этаже, в так называемом «президентском» номере — непомерного размаха, не комнаты, а залы, — и полицейский пост обосновался у моего входа. Так вот как бытуют крупные политики? — направляют массы, по возможности с ними не соприкасаясь. Теперь ещё три дня, в заточении и с кондиционером, мне оставалось продолжать подготовку. Большой труд был — найти умелого синхронного переводчика; все такие, кто в Вашингтоне есть, связаны с советско-американской деятельностью, а значит закрыто им переводить меня. К счастью, нашёлся ООНовский нерегулярный переводчик — талантливый и русско-сердечный Харрис Коултер, так мы с ним сошлись, хоть кати в годичное турне из одних речей. Полное доверие давало возможность накануне готовиться с ним — то есть приблизительно произносить завтрашнюю речь (она не была написана) и так размерять время и помогать ему подбирать перевод трудных мест. Первую речь, однако, он не решался брать на себя один, подыскали сменщицу, какую-то даму, странную: русская, но не советская, переводила очень способно, даже отдаваясь работе в некоем трансе отсутствия, — однако с первого же прихода предупредила меня холодно, что абсолютно не разделяет моих политических взглядов и желает остаться от них в стороне, — заявление, не обычное для

русского эмигранта, но, видимо, слишком ценила советские заказы. После первой речи исчезла.

Перед самым моим выступлением, как и уговаривались, прилетела Аля мне на подкрепу — и сразу вывела меня из затруднения хорошим советом. Речь моя горела во мне — не дословно, но домысленно, — и я считал бы позором читать её, как читают все советские шпартальщики, да и на Западе многие. Однако специальная задача — нигде не сбиться с порядка мыслей и нигде не упустить удачных выражений — сковывала напряжением, меняла весь тон речи, лишала её непринужденности и, значит, воздействия. Сплошного текста у меня не было, а тезисы были сведены уже к пачке половинок ученической странички. И Аля посоветовала: так и выйди с ними, держи их в руке, без помехи жестам, а понадобится — заглянешь. Простая мысль, простая форма, но каждую надо найти. Так я и сделал, и сразу спал обруч с моей головы, стало dokonечно легко. Найдена была форма — на сто речей вперёд. И, действительно, по разогнанному своему состоянию, я мог тогда ехать произносить хоть и сто речей, да сам себя ограничил.

Присутствовало тысячи две зрителей, и почётные приглашённые (был военный министр Шлессинджер, экс-военный министр Мелвин Лэрд, американский делегат в ООН Патрик Мойнихен). Вначале был общий ужин, как это у американцев полагается, сидели и мы, президиум, профсоюзные вожди — на сцене лицом к публике и тоже сперва лопали (ужасный обычай!). Потом меня смущало: так, от столиков, не все dokonчив десерт, меня и слушали. При вступлении Джорджа Мини очень трогательно было, как пригласили на сцену двух бывших зёков — Сашу Долгана (через Тэнно мы были с ним знакомы в Москве) и Симаса Кудирку — литовца, выданного американцами, но ими же незадолго перед тем и вызволенного. И мы крепко глубоко обнялись и расцеловались перед этими несведущими, небитыми, но и небезнадёжными, открытыми же к отзыву людьми.

Не волновался я — нисколько, да и по прежним выступлениям так ожидал. Хотя подобного, как нынче, ещё не бывало у меня: ощущение — холма международного, что говорю и вдаль, и надолго. Освобождённость от напряжения памяти давала последнюю нужную свободу каждому движению и произнесению. Начало я приставил неожиданное: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», ещё не привязав ни к какой фразе, так чтоб это оглушивало, как будто залетел по ошибке советский агитатор, — а потом объяснил, что это советские зёки протягивают руку американским профсоюзам, которые и действительно, может быть одни в мире, в страшный конец 40-х годов не предали их, постоянно напоминали о лагерях рабского труда в СССР, даже издали карту советских лагерей. (Но острота моя до профсоюзных лидеров, кажется, не дошла, так и приняли за чистую монету: пролетарии всех стран, пора соединяться!)

От чего ещё я был в этой речи* свободен — от всякого сомнения в нужности, своевременности, силе удара и направлении его. Я бил — по людоедам, и со всей силой, какая у меня была. Копилось всю жизнь, а ещё страстней прорвалось от гибели Вьетнама. Думаю, что большевики за 58 своих лет не получали такого горячего удара, как эти две моих речи, вашингтонская и нью-йоркская. (Думаю — пожалели, что выслали меня, а не заперли.)

Хотя я приехал в Штаты и на год позже, чем звали меня, чем был наибольший ко мне размах внимания, — но и сейчас не опоздал. Правда, многие были ошеломлены такой моей резкостью, телевидение, хотя и крутило с балкона непрерывно, выступления моего не стало передавать. Рассерженная столичная газета даже назвала мою речь глупостью, но иные комментаторы сразу же сравнили эти речи с Фултонской речью Черчилля (о сталинском «железном занавесе»), и я, без избыточной скромности, с этой оценкой внутренне согла-

* «Публицистика», т. 1, стр. 229 — 255.

шался. Нужно было пройти годам двум-трём, как прошло сейчас, чтобы я, перелистывая эти речи, сам бы удивился своей тогдашней уверенности. По большому внутреннему повороту, *сейчас* я бы таких речей уже не произнёс: уже не ощущаю я Америку таким плотным, верным и сильным союзником нашего освобождения, как ощущал тогда. Нет.

Да если бы я знал! если бы кто-нибудь мне тогда показал позорный закон 86-90 (1959 года) американского Конгресса, где русские не были названы в числе угнетённых коммунизмом наций, а всемирным угнетателем (и Китая, и Тибета, и «Казакии», и «Ивдель-Урала») назван не коммунизм, а Россия, — и на основе того-то закона каждый июль и отмечается «неделя порабощённых наций» (а мы-то, из советской глубинки, как наивно сочувствовали этой неделе! радовались, что нас, порабощённых, не забыли!) — так вот и было лучшее время мне ударить по лицемерию того закона! — Увы, тогда не знал я о нём, и ещё несколько лет ничего о том не знал*.

Только до наших соотечественников в Союзе мало доходил мой заряд: «Голосу Америки» передавать меня давно запрещал Киссинджер, а Би-би-си и даже «Свобода» тоже стали избегать такого «авторитариста», каким размалевали меня после «Письма вождям».

На наш вечер Мини коварно приглашал и Государственный департамент, и лидеров Конгресса, и президента Форда. Но, разумеется, никого тех не было, ни Форда. Детантшик Киссинджер строго его предупредил, опасаясь испортить отношения с СССР. 26 июня 1975, за четыре дня до моего выступления, Госдепартамент послал в Белый дом меморандум, где говорилось: «Советские власти, вероятно, восприняли бы участие Белого дома [в банкете в честь Солженицына] как сознательно поданный отрицательный сигнал или как признак слабости администрации перед антисоветским давлением изнутри... Встреча Президента [с Солженицыным] не только обидела бы Советское правительство, но и вызвала бы споры вокруг мнения Солженицына о Соединённых Штатах и их союзниках... Мы рекомендуем, чтобы Президент не принимал Солженицына»**.

До этого момента Президент меня и не приглашал, и сам я никакого желания пойти в Белый дом не высказывал, это и не обсуждалось. Но кто-то из наскокливых журналистов чуть передёрнул ситуацию или сам понял неверно, стал допрашивать пресс-секретаря Белого дома, почему Президент меня не принимает, а тот растерялся и стал выдвигать причины, к тому же не лучшие, почему этого до сих пор не произошло. И так создалась легенда, что мне было отказано в посещении Белого дома, — легенда, неожиданно больно ударившая потом по Форду. (Его обвиняли, что он «оскорбил Солженицына», хотя я ни в чём тут оскорбления не вижу.)

Вашингтона нам увидеть почти и не пришлось — одна прогулка с Ростроповичами близ монумента Линкольна, один концерт его в Кеннеди-центре, часовая пробежка по библиотеке Конгресса, да Аля улучила сбегать в маленький, но изысканный музей импрессионистов. Ещё соблазнились посмотреть Макарову в американском балете, попали на два поспешно и нелепо склеенных отделения — растерянную классику с Макаровой и натуралистически иступлённую эротику американской труппы. Мы даже прошли к Макаровой за сцену, из чувства соотечественного, но возникла только обоюдная неловкость: ни к чему, ничто нас не объединяло.

Ещё — в день американской независимости съездили мы в город Вильямсбург, штат Вирджиния, — декоративно воспроизведённую трёхсотлетнюю их старину и ремёсла. Там был и парад, в костюмах XVIII века, со старыми колесницами и пушками.

* И ещё сегодня Конгресс Русских Американцев пытается хоть через какого-нибудь одиночного конгрессмена протолкнуть пересмотр закона, и меня просят помочь, и всё не удаётся. (Примеч. 1986.)

** «Вашингтон пост», Р. Эванс, Р. Новак, 2. 9. 1976.

Едва нас доставили в Нью-Йорк, в отель «Американа», на какой-то немыслимый этаж, где воздух был только от нагнётной машины, а вид из неоткрываемых окон совершенно дьявольский — ущелья улиц с тараканами автомобилей внизу (добрая треть их — жёлтые, оказывается, это их такси), вокруг — нечеловеческие небоскрёбы (с 20-метровыми рекламами курения), а на крышах, тех что пониже, непрерывное извержение пара (отработка системы охлаждения), — как разразилась над этим городом могучая гроза, словно в «Мастере и Маргарите», и дважды, подряд. Даже непугливая Аля перепугалась, а я сказал: «Хорошо! По народному поверью — это добрый знак. Всё-таки и над такой нелюдской затеей — Божья милость!» А страшнее города — не знаю.

В клетке номера, и опять под охраной полиции, я и остался запертый до того часа, когда меня спустят в лифте сразу пред новую публику, на новый банкет — держать следующую речь. Без воздуха и с этим постоянным сатанинским видом из окна, положение — вполне арестантское, не позавидуешь политическим деятелям.

И нью-йоркскую речь* я произнес, 9 июля, с той же страстью и уверенностью, ошутимо доставая копьём до пасти и боков моего природного Дракона, чувствуя, как места пробивает и вонзается. Добавляя, что ещё коммунистам не досказано. (Профсоюзы издали те речи тиражом 11 миллионов экземпляров, а КГБ именно с того времени и начало стряпать против меня злобную псевдобιοграфию — чеха Ржезача, с помощью ростовских и иных гебистов.)

На другой день я проводил Алю снова на швейцарский самолёт, в Цюрих, — а сам ещё всё не мог кончить выступать, накидывали на меня новые петли. В воскресенье выступил в самой смотримой политической телевизионной передаче «Встреча с прессой» (но и в эти полчаса умудрились нас, оказывается, прервать рекламой бюстгальтеров). Я ожидал с корреспондентами большого боя и оспорения, но прошло мало интересно**. Все четверо в ряд важно сидели и пузырились в глубокомыслии, когда подходило им задать вопрос. Всё же пытались — сбить меня со сказанного в речах. Ощущение было, что видят во мне — врага. Только старый знакомый Хедрик Смит, смекая мой подсоветский и европейский общественный вес, не пошёл в атаку, а напомнил зрителям, как он встречался со мной в Москве и в Цюрихе. И на другой же день поволокли меня ещё на одно телевизионное интервью — в пользу «Из-под глыб». (Моим именем удалось распространить наш сборник по Соединённым Штатам сверхожиданным тиражом.) А интервьюерка — американская, оказывается, знаменитость Барбара Уолтерс — ещё опоздала на 20 минут. Ни за что бы не ждал, ушёл бы, — так «Из-под глыб» жалко. А она пришла — и закидала меня вопросами об американской политике и Киссинджере. Я тяну на «Из-под глыб», она тянет на политику, и так наговорили полчаса. А передача 15-минутная. Смотрю на другой день — передали одну политику. Схватился и написал этой Барбаре пригрожающее письмо: мне надо сделать важное заключение об американской теле-медиа, и я сделаю его на основе того, будут ли переданы вторые 15 минут, о сборнике. Через неделю смотрю — передаёт.

За минувшие две недели центральная американская пресса успела достаточно заляпать мои выступления. Хотя и встречалось в отзывах, что «Западу всегда полезны напоминания об угрозе коммунизма и его коварстве», и были отзывы трезвые, но в главных лилось: «Солженицын призывает нас к крестовому походу для освобождения его соотечественников (а я — ни словом ни духом не призывал!) ...В атомной войне погибнет и Россия, освобождения которой так горячо добивается Солженицын». Тонуло возражение «Вашингтон стар», что я совсем не зову Запад к крестовому походу, а лишь *прошу перестать помогать угнетателям*, — свободная американская пресса исключительно тугоуха к тому, что ей невыгодно слышать, она предпочитает наслушиваться

* «Публицистика», т. 1, стр. 256 — 279.

** «Публицистика», т. 2, стр. 284 — 291.

то, что ей надо. «Обладает тонким пониманием жизни в СССР, но мало понимает Запад и его строй»; однако, к счастью, «мессианские утопические идеи Солженицына не разделяются другими выдающимися инакомыслящими из СССР, которые... верят в эволюцию марксизма в сторону парламентской демократии». А «Голос Америки», в равнении на Киссинджера, составляя обзоры печати для советских слушателей, давал перевес враждебным откликам, выкапывая даже какую-нибудь «Кливленд пресс», утоплял для русских ушей смысл и значение моих выступлений.

Успел я в Нью-Йорке ещё съездить в Колумбийский университет, два денька поработать в русском «бахметьевском» архиве, прочесть там несколько замечательных эмигрантских воспоминаний, жалею, что не дольше. Встречался с руководителями их «Русского центра» (оказались совсем чужие люди). Посетил (в Манхэттене, на границе Гарлема) овдовевшего Романа Гуля, нынешнего редактора «Нового журнала», да ведь участник Ледяного похода! Боже, как горько кончать жизнь в эмиграции и одинокому, в нью-йоркском каменном ущельи!

А между тем уже было у меня телеграфное приглашение от 25 сенаторов — ехать встретиться с ними в гостевом зале Конгресса. (Кто-то из политиков затревожился, что упустили меня.) Нет, эта страна замотает! И вот я снова ехал в Вашингтон, на этот раз своим любимым способом, поездным. И в вагоне дорабатывал речь для сенаторов, в этот раз короткую, — и решили мы с Коултером, что я её напишу, буду читать с готового, и он тоже переведёт с письменного.

15-го июля нас ждали в Конгрессе. Полиция остановила движение на перекрёстке, и два сенатора, претендующие на меня особо, — республиканец Хелмс (это он выдвигал меня в почётные граждане США) и демократ Джексон (как ярый противник СССР), — ухватили меня на выходе из машины. Джексон выражал радость как будто величайшую в своей жизни, а глаза — пустые, мне даже страшно стало: вот политика! Вели меня через какой-то коридор, где аплодировали с хоров, затем в ротонде перед смешанной публикой — с тридцатью сенаторов, с тридцатью конгрессменами, и просто кто пробрался, — мы с Коултером читали речь малыми кусками, попеременно, и читалось настолько сразу, как бы лилась сплошная английская речь, а два ведущих сенатора теснились с нами на трибуне, оспаривая близость.

Сейчас, в 1978, перечитываю эту речь* — ну право хорошо, взвешенно, и легко далось мне тогда. (Сейчас, мне кажется, я *этого* бы произнести американцам не мог. Это всё было о том, как народам друг друга понять при разности опыта и как этот опыт можно передать словесно, — в такую возможность я верил в нобелевской речи и ещё верил в сенатской, но уже полугодом-годом позже отчаялся.) Очень я призывал всех их подняться до мирового сознания, до мирового уровня, до *великих* людей (всё время и сознавая, что не только нынешние деятели не таковы, но американский избирательный процесс своим натужной шумихой и мощным денежным вмешательством закрывает великим и независимым путь наверх). После речи, по американскому обычаю, шла на рукопожатие длинная вереница представляющихся. (Среди них — итальянский сенатор Лонго, что имело последствия. А когда в конце подошли две дочки Ростроповича, Оля и Лена, и я их обнял, пресса сфотографировала и представила как поцелуи сотрудницам Белого дома.)

После речи мы прошли в кабинет Джексона (упруго ощущая и локоть Хелмса) — и тут зазвонил телефон из Белого дома. С американской быстротой реагируя на мою речь, 10 минут назад произнесённую, штаб Президента приглашал меня к нему немедленно, вот сию минуту! Нет уж, *сейчас*, после газетной трескотни, что мне «было отказано», — спасибо за милость, — я отказался. Тогда к телефону взяли Хелмса и давили его по республиканской линии, а

* «Публицистика», т. 1, стр. 280 — 283.

он от телефона упрасивал меня — но я был непреклонен. Вот истинная история, почему не было приёма в Белом доме, — а вся вина так и повисла на бедном Форде.

Вашингтонская жизнь не давала соскучиться, и в ближайшие часы подала мне ещё одно следствие моих речей и поступков: Лэйн Кёркланд (заместитель Мини), у которого я в этот раз остановился, позвонил домой жене готовиться к ужину: вечером будем принимать вице-президента Нельсона Рокфеллера. Так всё и случилось. Приехал Мини, позвали Коултера переводить — и прибыл вице-президент. (Тем временем его личная охрана оцепляла дом.) Надо сказать — вопреки моим пожеланиям в сенатской речи, вице-президент поразил своей незначительностью, бесцветностью, уже по наружности, уже по началу, но всё более выявляемой за те три часа, что он скучно просидел, несколько раз возвращаясь к своему полученному заданию: убедить меня встретиться частным образом с Киссинджером! (Хорош вице-президент на побегушках у государственного секретаря!) Что я зацепил московского Дракона — я не сомневался, но, оказывается, здорово же задел я и Киссинджера, если он, запретив Президенту меня принять, сам спешил теперь устроить со мной какую-то мировую, или как-то усмирить и обволочить. Нет, никакая закулисная частная встреча с ним мне была не нужна. Да и вообще я уже усваивал: с людьми неясными — лучше всего не встречаться, чтобы не дать им возможности потом придать встрече ложное истолкование, это — правило общее. Но с главным вьетнамским капитулянтом мне было бы встретиться ещё и невыносимо. Сколько ни уговаривал Рокфеллер, я: нет, нет, нет (Остальной вечер Кёркланд с женою и Мини критиковали вице-президента, что их правительство предаёт Израиль, — хотя никак не было на то похоже.)

В те дни не слишком прочно, не слишком глубоко, а какой-то поворот или остановку падения в американском сознании мне, кажется, всё же удалось совершить. В те дни оно прокачнулось через свой вьетнамский надр и стало всё же взбадриваться.

В Вашингтоне получил я письмо от Али, уже из Цюриха, а в нём — и первое в жизни «письмо» Еρμοши, коряво-печатными буквами. Такое вспыхнуло чувство у меня, будто сын заново родился. С этих его строк стал я его ощущать уже личностью.

Не давая больше ни во что меня зацеплять, почитая объём произведенных выступлений законченным, дальше только инфляция, я уже на другой день исчез из Вашингтона. Ещё несколько частных визитов (устроили мне в доме Добужинских встречу с однополчанином моего отца в Первую войну). Но не так просто вырваться из вашингтонской карусели: вдруг, на толстовской ферме под Нью-Йорком, узнаю из газет, что Белый дом заявил прессе: *если только я захочу* — я буду охотно принят Президентом. Догадались, наконец, перепалить на меня! Правила игры требовали немедленного хода. А тут как раз нависала Хельсинкская конференция. И я это связал: Президент Форд уже объяснял, что «символическая» встреча никому не нужна. Совершенно с ним согласен. Вот если б я мог отклонить его от признания в Хельсинки векового рабства Восточной Европы, я и сам бы добивался встречи с ним. Но уже впусую: он едет подписать. С толстовской же фермы позвонили в «Нью-Йорк таймс» и передали моё заявление*. (Сейчас нахожу: очень резко. А из Белого дома и в августе писали в письмах-ответах избирателям, что Президент ещё надеется организовать со мной встречу. Кисло ему отдалось...)

Сидел я за обедом у Александры Львовны, и мы удивлялись замысловатости русских путей в этом веке. Вот — я здесь. И ведь это я *ей* ещё из ссылки собирался посылать-доверить свой анонимный пакет первых микрофильмов. И о ней уже написал в «Архипелаге». Теперь надписываю ей «Август» — как возвращаю Толстому то, что без него бы не родилось. И — дочь генерала Сам-

* «Публицистика», т. 2, стр. 292.

сонова — да! — сидела с нами за столом! и уверяла, что я вылепил её отца совершенно как он был. Высокая для меня похвала.

Дела мои на этом континенте исчерпывались. Ещё — впервые! — встреча с Вильямом Одомом, «невидимкой», близ Вест-Пойнта, и мог я теперь крепко пожалть руку человеку, вывезшему половину моего архива, половину моей жизни. Ещё летняя русская школа в вермонтском Норвиче.

А что же — мой новый дом, где же он? Ведь я, кажется, уже переехал в Америку, и теперь бы мне нырнуть к себе? увы, вермонтские «риэлторы» ещё ничего путного Алёше не предложили, ни дома подходящего, ни даже голого участка. А у него пока прекращалась возможность со мною ездить. И так работать мне было — негде, пропадало время. Переезд не состоялся, планы сорвались, и надо было (со всеми чемоданами) возвращаться в Европу: ясно стало, что в Цюрихе нам ещё год годовать.

В Монреале Алёша посадил меня на самолёт. Минула укороченная ночь — разордал я тяжёлые глаза 1 августа, а газеты, предлагаемые пассажирам, сообщали о торжестве Хельсинкской конференции. (Спасибо, Люксингер в «Нойе Цюрхер цайтунг» предвидел, что на историческом разлёте — прав окажется не Киссинджер, а я.) Ещё эти Хельсинки утяжелили мой и без того тяжёлый, чересильный, неохотный возврат в Европу. Сошёл я на землю не своими ногами, ах, потерянности какая-то, резкое ощущение *не того* места жизни. Тесно! Я — вернулся в Европу, но и как бы не вернулся. Что-то места себе не находил.

Да ведь — сколько времени потеряно! *Три месяца* я не прикасался к своей работе!

И Али дома нет. Она, воротясь из американских поездок, решила ехать со всеми четырьмя сыновьями, со всем малым выводком — в православный детский лагерь РСХД под Греноблем, во Франции. Такие летние лагеря, или скаутские, или «юных витязей», русские эмигранты, по всему их рассеянию, заботливо устраивают в усилиях дать своим детям родную детскую среду при наглядье добрых воспитателей, окуная их в русскую душевность, укрепляя у детей и русский язык, и веру. Вот это же и наша гвоздящая задача: как вырастить детей за границей — и русскими? Для троих младших уже больше года все, кроме домашних, — иностранцы, говорят — не поймёшь. А в лагере — ошеломление: все вокруг — по-русски! (Уж там — худо-бедно, но по-русски...) Трудно досталось Але с маленькими, в лагере все дети старше, но поездка была успешной и вспоминалась долго.

А тут, за три месяца отлучки, набралось почты, почты — и в ней: приглашение от князя Лихтенштейнского посетить его замок, над столицей Вадуц. Этот самый князь Лихтенштейнский, Франц-Иосиф II, теперь уже старик, в 1945 не побоялся принять у себя отступающий из Германии русский отряд в шестьсот человек, с семейным обозом, — и когда все великие державы трусливо сдавали Сталину солдат и беженцев, Князь крохотного пятачка не сдал никого! (Лишь человек сто потом потянулись в советский плен добровольно.)

И мы с В. С. Банкулом уже раз подъезжали к тому замку, ещё непрощенные, весной, по пути в Италию, — выразить князю признательность от русских. Было утро. В замке на горе жизнь ещё, по-видимости, не начиналась, да снаружи что увидишь в каменном туловище с узкими окнами. У ворот замка я написал записку по-немецки: «Ваше Высочество! С удивлением и сочувствием смотрю я на это маленькое государство, нашедшее своё скромное и устойчивое место в нашем суматошном беспорядочном мире. Мы, русские, не забываем, конечно, что оно имело мужество приютить у себя солдат русской армии в 1945, когда весь Запад близоруко и малодушно предавал их на гибель». Мы постучали у ворот, привратник пропустил нас — через ров, через мост, по мощённому въезду меж каменных стен — в одноэтажное каменное здание. Секретарь оказался высокий седовласый старик в чём-то бархатном, ну буквально из Андерсена. Тут подоспел и премьер-министр, тоже стилизованный, и принял от меня записку. — Потом, месяца не прошло, — на торжестве в Аппенцелле были и князь с княгиней, мы познакомились. И, вот, вослед они посла-

ли приглашение — а я уже уехал навсегда в Америку. Но теперь, воротясь, и в неустоявшемся настроении, ещё ни к какой работе не прилажась, — вот и съездить. Поехали опять, с Банкулом.

Сегодня в Европе достаётся видеть зámки, но уже не жилые, а здесь жила обильная семья в трёх поколениях, семейные покои, дети с игрушками — и окна-бойницы, узкие лестницы в камне, в подвале — музей рыцарского оружия, обед сервирован в рыцарском зале, слуги в камзолах, высокий старик князь держится благородно по-монаршьи, а дочь князя, вот тебе нá, — служит в Вашингтоне у какого-то американского сенатора. За столом был и бывший премьер, 1945 года, который вёл тогда переговоры с генералом Хольмстоном-Смысловским и принял его отряд. И сам генерал сейчас, оказывается, тут же, в Вадуце. И после поездки с княгиней на высшую вершину княжества, где у них современный дом и приглашают меня работать зимой, — едем мы к Смысловскому, а это оказывается Борис Алексеевич, сын моего персонажа из «Августа» и давно мне известный по семейной истории, ибо я в Москве знаком со всей семьёю. И сразу так тепло и всё взаимно понятно.

Благодатные стеснённые камни Европы! — не обезличенные американские придорожные городки. Сколько тут струится! Вот и поселиться бы мне в Лихтенштейне, в горах? Ах, как верно найти свою точку, свою прикрепу?..

Ищу покоя и возврата к работе, так надоело мотаться в политической мельнице. А — где работать? Штерненберг в этот летний месяц был занят. А в нашем доме на мансарде, накалённой в зной, и совсем невозможно, и город вокруг гремит, и в крохотный дворик всё заглядывают прохожие, — где тут работать. От этого — ещё тоскливей.

Да, так писем же, писем сколько меня ждало, писем на всех языках, уже отсеянных, отвеянных Алей и помощью Марии Александровны Банкул (как и муж её, она в совершенстве владела главными европейскими языками, а в Цюрихском университете преподавала русскую литературу).

И — как уходить в исторический роман, когда вот томится, ждёт тебя месяц (а написано три месяца назад, но доставлялось не почтой, а какой-то оказией) объёмное содержательное письмо, а первые слова его: «Я обращаюсь к вам как к соотечественнику, писателю, борцу, человеку и христианину! Мой долг — рассказать и доказать правду, свидетели которой вынуждены пока молчать». Как не оледенишься? как не схватишься? (И разве один такой воззыв? и как за всеми поспеть?)

Это был душераздирающий случай с Любой Маркиш — жертвой и инвалидом приоткрывшейся страшной советской практики: испытания новых отравляющих веществ на неподозревающих людях, например, на студентах-химиках, лаборантах. С ней случилось это 7 лет назад, в Московском университете, с тех пор она эмигрировала, жила в Штатах, но вот и она опоздала мне всё это рассказать, пока я был в Нью-Йорке, мог бы об этом злодеянии сказать публично. (От нашего Фонда мы установили ей стипендию для написания рукописи. Она начала её писать, но почти сразу вездесущие советские агенты стали терроризировать и её, и заступника её Давида Азбеля, учёного-химика, бывшего советского. Пыталась Аля устроить, через Максимова, чтобы Любу включили в сахаровские Слушания в Дании, — поразительно! — не захотели выслушать её сами устроители, сахаровского круга! Тогда Аля добилась, с большими хлопотами, чтобы Любу выслушали в сенатском подкомитете. Но и протоколы этих показаний «в интересах Америки» не были оглашены.) И откуда же набраться энергии, чтобы не уставать гласить правду? и сколько сходных случаев, тоже нетерпимых, где набрать времени и усилий?

Только вернулась Аля с детьми — к нам, 25 августа, приехали два высоких полицейских чина в штатском. Один — стройный, седоватый, сухой, красивый, уже и прежде мелькал близ нас на аэродромных снимках, когда я встречал семью из Москвы. Оказывается, был он и в мой первый приезд из Германии, на цюрихском вокзале. Теперь предупредил меня — и как пропитана

провокаторами чешская эмиграция в Цюрихе, и что, по данным и других европейских полиций, я числюсь в *списке* у интернациональных левых террористов. Спасибо. Да иначе и быть не могло, я знал: что ж Советам — дремать и всё моё сносить?

А сам я, в гремящем городе, пропадая без устояния работы. Ангел наш хранитель Элизабет Видмер пришла на помощь, разыскала мне приют — хутор Хольцнахт на базельском нагорьи: большая трёхэтажная дача, дюжина комнат, принадлежащая многочисленной семье, но на эти три месяца все обещали не приезжать, и действительно, три месяца никто меня не потревожил. Тут пейзаж был, в противоположность Штерненбергу, — совершенно замкнутый лесками и холмами травяной склон, как бы большой двор. Чтоб увидеть далеко, надо было подняться на один из холмов, и тогда открывался большой горный обзор, даже на стык швейцарской, французской и немецкой границ. Но из окон, с крыльца и продолговатой веранды во все стороны виделась эта успокоительная близкая замкнутость. Тут уже не было ни проезжих машин, ни прохожих туристов, до домика бауэра метров четыреста, — действительно попал я в одиночество, да горно-осеннее, очень плодотворное. Старинные резные оконца, старинная мебель, из близкого леса таскал себе дровишки, по вечерам накалял кафельную печку, базельское радио (частотная модуляция) полно классической музыки, то вышагивал, вышагивал по 15-шаговой веранде, а спать подымался в нетопленную спальню с открытыми окнами. И постепенно совершилось отключение, успокоение, поворот на свою тему.

Поворот — но не так легко снова войти уверенно в работу. Стал перечитывать свой, уже немалый, «Дневник романа о Семнадцатом». Сколько же теперь находил и оброненных намерений, невыполненного. Исторический роман, да такого охвата событий, — тут нет готовой науки. Теперь — и уже напечатанный «Август Четырнадцатого» стал казаться мне сильно неполным. Главное, чего там нет: как прорезался по России 1905 год, но и как после него Россия стала, до 1914, бурно расцветать, Столыпин. И революционеров я почти обошёл в военном этом Узле, — а нужны они! Сказывался, болел и шов между «Октябрём Шестнадцатого» и пропущенным «Августом Пятнадцатого». И «Октябрь» сам — ох, не кончен, нет, ещё переписывать многое. А семь лет работы — прошло. Так что ж, вообще мне не справиться? Невыполнимая задача? Но ведь только ею я и живу. А я-то думал: сразу начинать третий Узел — «Март Семнадцатого», ещё более неведомая стихия, по темпу революции и всю методику написания надо менять, всю динамику.

Думал, думал над этим, топтался, — решил пока взяться за личные сюжеты — да протянуть эти линии до Шестого—Седьмого—Восьмого Узлов? Так и сделал. Постепенно стал из кризиса выходить — и даже награждён был «лавинными днями», как я их называю (в прошлом, в Жуковке, их много было), они больше всего и вытягивают работу: по неизвестной причине в какой-то день, прямо с утра, вдруг начинают прикатывать мысли, мысли, догадки, да какие обещательные, да как повелительно! — только успевай, пока не ускользнула, записывать, записывать, одну, другую, третью, и так возбуждаешься, за столом не усидеть, начинаешь ходить, ходить, а мысли, картины, сцены всё прикатывают и прикатывают — ох, успеть бы хоть бегло, не дописывая слов, занести на бумагу.

Но именно в те три месяца, что я прожил в Хольцнахте, внешний мир часто дёргал меня и разжигал. Каждый раз, как я шёл к бауэру позвонить Але в Цюрих, — почти всегда узнавалось какое-нибудь беспокойство, требующее решений, мер, шагов.

То — волна газетных клевет. Клеветы какие-то новые, «дружественные». Итальянский сенатор Лонго (с которым рукопожались в сенатском зале перед фотоаппаратом) напечатал большой рассказ о якобы состоявшейся потом со мной 40-минутной беседе с глазу на глаз, где я излагал ему свои взгляды на положение мировое и в Италии. То западногерманская газета «Националь цайтунг» напечатала на целую страницу большое «интервью» со мной, не на-

звав только: даты интервью, места его и фамилии интервьюера. А шли развёрнутые вопросы и ответы, и было это — довольно честное переложение сути моих американских речей. Но почему же, мерзавцы, в форме придуманного интервью? повысить цену своей газете? И такое же «дружественно измышленное» интервью в итальянском журнале «Культура ди Дестра». Разбой! С живым обращаются как с мёртвым! Вот это — свобода прессы! Да этих правых опасаюсь не меньше, чем левых, кожу сдерут. Выхода нет, печатать опровержение. [17]*.

А тем временем не дремлют и левые. Благородный «Монд», очевидно, слишком тяготясь, как они этого Солженицына уже продвигали, печатает сенсационное сообщение, что я — еду в Чили, на двухлетие празднования режима Пиночета. Интересно, на что рассчитывают? Ведь как будто интеллигентский орган, должны бы понимать: если это ложь — легко опровергнуть, будет стыдно? Нисколько. Главное: подкинуть не проверяя сообщение, чтобы из всех левых подворотен зубами потрепали «реакционный шаг Солженицына». Ах, он опровергает? — ну, пожалуйста, напечатаем, мелко-незаметно. А может, кто опровержения не прочтёт — так в памяти и останется. (И — осталось, и много лет меня печатно корили этой сочинённой «поездкой к Пиночету».)

Нет, резкие выступления, подобные моим американским, — они небеспоследственны. Они вызывают целые вихри сочувствия или (больше) ненависти, которые ещё долго клубятся и меня же цепляют, и меня же опять затягивают. О, в политику только встрянь.

То — австрийский союз писателей после моих выступлений желает слышать меня у себя и спорить со мной на симпозиуме (и австрийский канцлер Бруно Крайский тоже сам желает спорить), защищать идеалы социализма. Аля отвечает, что я не могу приехать, что я полностью ушёл в работу, и при этом как-то обмолвливается, что и связь со мной затруднена (имея в виду, что позвонить мне в Хольцнахт нельзя, телефона нет), — в австрийских газетах радостные заголовки: «Солженицын — в тяжёлой депрессии, никого не в состоянии видеть, даже жену», американское же агентство подхватило на весь мир. И Але со всех концов Европы звонят тревожно: «В депрессии?.. Ужас какой!» А на Лубянке-то, небось, как рады! Отзываюсь репликой, Аля шлёт её в дружественную нам «Нойе Цурхер цайтунг». Та от себя добавляет, иронизирует: «Какие странности: писатель — не принимает посетителей, не читает писем и — вершина странностей! — не хочет поехать на конгресс Пен-клуба в Вену! Писатель сконцентрировался на своей писательской работе и для своей работы нуждается в тишине — это могли бы понять даже в кругах Пен-клуба».

Тут — ищут контакта, хотят со мною тайной встречи какие-то официальные китайцы, находящиеся в Швейцарии. Ключули, ясно! — я для них находка, молот против советской верхушки. Но — нет, я вам не слуга, в ваших марксистских спорах разбирайтесь сами. Через посредника ответил, что на встречу не пойду.

А тем временем «Телёнок» скоро выходит на немецком. И, дождавшись достаточно близкого срока, пресловутый «Штерн» делает выпад. Французское издание они уже упустили остановить, сколько-то месяцев прошло невосвратно, да, может, там и не стремились, — но в своей Германии «Штерн» не хочет быть опозоренным! Он ведёт линию, которую легко использует КГБ, — однако при этом хочет числиться германским патриотом. И он уже кусался с «Квик» из-за подобных обвинений, и очень успешно, его судов бояться в Западной Германии. И за мои слова он уже наускакивал на «Ди Цайт». (Кстати: вообще в западных странах очень характерна напористая наглость, с какой обвинённые в связях с ГБ используют западную юридическую систему: она легко позволяет ходить ни в чём не виновным, а письменных доказательств обычно и не бывает, а ещё когда в тылу прочная поддержка: сколько угодно

* Цифра обозначает номер приложения, помещенного в конце главы. Предыдущие 16 приложений к Главе 1 настоящей книги напечатаны в № 9 «Нового мира» за этот год. (Ред.)

денег, не бояться никаких забот и беспокойств.) И вот, когда в издательстве «Люхтерханд» набор «Телёнка» уже готов и начинает печататься тираж, — 2 сентября адвокаты «Штерна» подают в гамбургский суд требование остановить «Телёнка» из-за клеветы. Одновременно ими пишется бумага — издательству «Люхтерханд», издательству «Сёй» в Париж и мне в Цюрих (а я уже в Хольцнахте для *спокойной* там работы): что они дают всем нам срок до 12 часов дня 5 сентября, это самое позднее, когда ждётся ответ. Во избежание штрафа, который будет наложен на нас земельным гамбургским судом, — откажитесь от утверждений: что статья «Штерна» (1971 года, о моей тёте и о семье Щербаков, тогда вызвавшая плотную советскую атаку на моё «соцпроисхождение»* напечатана стараньями КГБ; что главный редактор «Штерна» лжёт, когда утверждает, что его корреспондент посетил тётю Солженицына в Георгиевске (недоступном для иностранцев).

Письмо это (простою почтой, не экспрессом) достигает «Люхтерханда» только 4-го, «Сёя» и Цюриха — позже, меня не застаёт, но ультиматум поставлен железно: не только сдавайтесь, но — не имейте даже времени подумать и снести. Сила и напор! 3 сентября победительный редактор «Штерна» Наннен, опережая письмо, звонит в «Люхтерханд» — и объявляет всё то же. Ещё и ранний сентябрь, время каникулярное, в «Люхтерханде» на месте — не главный редактор, а очень слабонервный сотрудник, он сразу ото всего отказывается: «Люхтерханд» ни на чём не настаивает, но он ничего и менять не может, у него только лицензия от «Сёя», да он молниеносно сейчас будет сноситься с «Сёем». Наннен железно напоминает: он уже побеждал в суде против обвинений в связи с КГБ. На другой день, 4-го, в «Люхтерханд» приходит и сама бумага. Срока остаётся меньше суток. Адвокат «Люхтерханда», впрочем, знает ту гамбургскую адвокатскую контору, имел с ними дело, уверен, что ему сейчас отсрочат. Он шлёт туда экспресс и звонит — как бы не так! Именно тот главный адвокат (Зенфт), подписавший грозную бумагу, тотчас ушёл в отпуск, а без него никто ничего отсрочить не может! И 5-го после полудня гамбургский суд ввиду срочности вопроса постановляет: ответчикам воспретить — утверждать буквально или по смыслу, распространять, или создавать впечатление, или дать ему создаться, и особенно книгою «Бодался телёнок с дубом», что... (статья о моей тёте появилась стараньями КГБ; тётю посещал не корреспондент «Штерна»). А пока — ответчикам немедленно внести залог в 100 тысяч марок для оплаты процесса.

И «Люхтерханд» умоляет «Сёя», адвокат «Люхтерханда» — Хееба: убедить меня вычеркнуть полностью все оспариваемые места. Но никакое смягчение уже не поможет, даже и смягчённый вариант будет «создавать впечатление или давать ему создаться», что «Штерн» всё-таки связан с КГБ, — а это тоже запрещено, и книгу всё равно не дадут распространять. По немецкому праву всю тяжесть доказательства несёт оскорбитель — а Солженицын не сможет документально доказать, что «Штерн» связан с КГБ.

И правда ведь, не смогу. А у «Штерна» — лучшие возможности остаться необвинённым. И доносится эта вся будоражка в мой уютный Хольцнахт, где я только начал настраиваться к «Красному Колесу».

Может быть, тут первый раз, а потом и ещё замечал: при юридических столкновениях — физическое ощущение усилия в верхней части груди, как бывает мускульное при схватке руками, — а тут чем? Это схватка душами. Не свойственная для душ, низкая для них — и потому унижающая схватка. (И потом ещё — долгое последствие, опустошённость в груди.) Юридическая борьба — профанация души, изъязвление её. Вступив в юридическую эру и постепенно заменив совесть законом, мир снизился в духовном уровне.

О, юридический мир! О, свободное крючкотворство! Вот на этом и вонзается беспрепятственно СССР: ни агентов КГБ, ни взяток КГБ никто никогда

* «Бодался телёнок с дубом», стр. 294 — 296, 644 — 648.

не сможет уличить документально. Суд, утонувший в юридизме, захлебнувшийся буквенным законом, а нить духа теряющий, так часто даёт преимущество негодяям и обманщикам. Ещё же и процесс может тянуться месяцы и годы, это не им в ущерб. Итак, на Западе нельзя говорить об этих шакалах в тех неоглядных выражениях, как я говаривал о нависшей надо мной коммунистической власти.

До Хольцнахта, к счастью, все эти подробности и многостраничные немецкие адвокатские письма не докатываются (лишь вот сейчас, через три года, впервые в них разбираюсь), Аля заслоняет мою работу, сколько может, — но между Парижем, Цюрихом и Хольцнахтом напряжённо и тревожно трещат телефонные линии. Идиотское положение — а приходится отступить?.. Как глупо, как бездарно — отступать в выраженьях о КГБ, будучи на свободном Западе, когда на Востоке я так твёрдо стоял. Я отвоевал себе там гораздо большую «свободу слова»!.. А теперь хоть лопни, хоть разорвись от негодования — а надо подписывать полномочие адвокату «Сёя» на тяжбу. И бросать свою работу, и листать, листать колючего «Телёнка» (вот что значит слишком рано печатать мемуары!): где эти места треклятые? и как их для немецкого издания спешно изменить, чтобы ничего не изменить? Задержать полностью всю книгу — ещё же глупей.

К счастью, Клод Дюран из «Сёя», ведущий все мои литературные дела, очень хладнокровен и даже дерзок, есть в нём дуэлянтство бывалых французов. Он берётся, всё же, обойтись минимальными изменениями. Он предлагает такой фокус: в самом опасном месте пропустить только название «Штерн», поставить звёздочку сноски, а в сноске: что выражения, относящиеся к некоторому определённом западногерманскому журналу, подверглись сейчас судебному преследованию, и чтобы не задерживать книгу, автор пока пропускает их.

Так мы и сделали (эти места — в главе «Нобелиана», в интервью с американцами), наспех, и, если разобраться, даже не в пользу «Штерна», а против него: сам он загнан в звёздочку, но многие помнят, какой журнал печатал разоблачения о моей георгиевской тёте. Зато мы усилили фразу: «гебисты-почитатели успешно навестили тётю (в Георгиевске, наглухо закрытом для иностранцев!)» — и что ж это значит? посетили — гебисты (а «Штерн» настаивает, что именно *его* корреспондент там был), только добавился намёк, что они выдавали себя за иностранцев, каковыми быть не могли. И рядом — как ГБ выловило «Прусские ночи» из Самиздата — и «*тотчас же* излюбленный „Штерн“ предложил рукопись в „Цайт“», — это место они не догадались оспорить. И в интервью с американцами осталось: что «Штерн» обладает в СССР особыми преимуществами — и сразу же пропуск — легко догадаться, *чьё* название снято. И тут же печатаем, что в Союзе писателей [Верченко] называли «Штерн» «источником, которому есть все основания верить», — и опять зловещий пропуск. Так получилось ещё выразительней, чем если б мы ничего не исключали. Дюран одурачил «Штерн»! И кличка, что «Штерн» — *бульварный*, тоже осталась неоспоренной и присохла.

Редко так легко проходит, Бог помог. О подробностях, как миновало, я потом так и не доспрашивался. Очевидно, твёрдо вёл себя Дюран, а «Штерн» был не очень в себе уверен почему-то. Во всяком случае, для меня самое невыносимое было бы — бросить Хольцнахт и ехать в эту свару. Обошлось, как-то глухо и безболезненно.

А разобраться: как же легко заставить нас отступить!

А там, в СССР, само собою не дремлют и продолжают — какие головы откусывать, над какими зубами клацать. Редактор «Вече» В. Осипов уж как старался быть лояльным по отношению к советскому правительству, с большой буквы его писал, всё силился увидеть в нём опору русских национальных надежд, даже главную силу полемики направил против меня как изменника этим надеждам, — но именно ему, а не левым диссидентам и не еврейскому оппозиционному течению, тоже со своим самиздатским журналом, достаётся сейчас крепкий удар — 8 лет второго срока и особый режим как «рецидивисту». В

момент суда над ним нельзя и мне не отозваться, публикую заявление*. (Из Хольцнахта от бауэра — Але в Цюрих, по телефону.)

А там — Игоря Шафаревича, за сахаровский комитет по правам, за «Из-под глыб», отрешают от лекций в Университете, — это учёного со всемирной известностью! Даю публикацию** и рассылаю письма крупным математикам.

А тем временем в Осло побеждает кандидатура Сахарова, я же когда-то и выдвигал его, я же недавно отстаивал его от Ж. Медведева, — тем более корреспонденты отовсюду дозваниваются в Цюрих: «а что вы думаете по этому поводу именно в данный момент?» Всё прежде по этому же поводу сказанное их уже не интересует, это — западная пресса, и что через 12 часов будет — тоже им не подходит, а вот — именно в данный момент. Аля публикует мой ответ***.

Я рад был за Сахарова, и рад, что он усилится в СССР, узнается его защита преследуемых. Но так же знал, что самые взывающие преследования он по-прежнему будет усматривать в затруднениях эмиграции. И не переставал жалеть, что, платя и платя жизнью для утоления своей чуткой совести, этот великий сын нашего народа никогда не примет к сердцу задачу национально-го возрождения его.

В этом году Сахаров опубликовал брошюру «О стране и мире». Заминался он в общем всё на тех же мыслях, не далеко уходил от своего «Размышления», семь лет назад, только изложение слабей — с неоправданной сменой высот, общностей и частных. Но то был крупный удобный случай ему — высказаться по нашей с ним дискуссии, однако он уклонился: «сегодня я не вижу поводов для продолжения дискуссии» — (думаю, и не легко бы ему найти аргументы) — «позже Солженицын разъяснил и уточнил свою позицию», — так написал, будто я в чём-то отступил, — а отступал-то, значит, он? Открыл дискуссию, с эхом на весь мир, — и устранился продолжать её. Ну, Бог судья. Но и несколькими строчками ниже всё же оспаривал: «нельзя призывать наших людей, нашу молодёжь к жертвам». То есть — к «жить не по лжи», даже к этому. А — кого ж и к чему призывать, если вот вождей к образумлению тоже нельзя? Если внутри страны никого ни к чему не призывать — то только всё и ждать помощи Запада?

И в том же сентябре никто иной как сын Столыпина попросил моей звуочной поддержки какой-то малой группе решительных эмигрантов, которые под именем «Конференции народов, поработённых коммунизмом» собирались в Страсбурге одновременно и параллельно Европейскому парламенту, чтобы успешнее обратить на себя внимание. И этой группе — тоже как будто отказать нельзя, ведь то и была моя идея: народам Восточной Европы всем помириться и обернуться против коммунизма. И я пишу такое обращение, позвучнее****.

Вот так проходят мои тихие уединённые дни в Хольцнахте, то и дело бежать за 400 метров к телефону — или узнавать, или передавать. Все сообщения — одни раздражающие, кроме единственного: Алёша Виноградов без меня купил большой участок с домом в Вермонте, и не так дорого, — и, значит, наш переезд решён. Купил на себя как на доверенного: неподъёмно было мне через океан лететь-смотреть, как Алёша звал, не в силах я опять отрываться от работы. — Тогда пусть Аля приедет смотреть-решать. — Но Аля вообще ось нашей жизни, её вынуть нельзя ни на час. Так и покупается главное место, на годы вперёд, — заочно! К счастью, Алёша не промахнулся.

В каждый приезд ко мне в Хольцнахт — Аля много рассказывает о сыновьях. После летнего лагеря они быстро выросли к слушанию не-младенческих книг. Пушкинские сказки слушают — не дышат. А вот пошли дождливые дни — застала Ермошу с Игнатом на разложенном диване, восседают среди груды натащенных коробок, игрушек, махмушек. «Это что такое?!» — «Мы

* «Публицистика», т. 2, стр. 306.

** Там же, стр. 310.

*** Там же, стр. 309.

**** Там же, стр. 307 — 308.

едем к папе, папу защищать». — «От кого?» — «От врагов. Вот — ему еда, вот машинка, чтоб он печатал, вот — валенки...» Играют в мой отъезд...

Мысль о детях — успокоительна и как-то поддерживает меня. Ночью, когда не сплю, и отталкиваю мысли бередящие, — думаю о сыновьях, — хорошо!

Я пишу обращение в Страсбург, но уже и раздваиваюсь, и голос мой расщепляется: чья надменность мне особенно горька — Востока или Запада? кто — безнадёжней к услышанию упрёка? кого мне особенно хочется прогнать? — эту ли «гангрену, заливающую человечество», но злость на коммунистов хорошо выпалил и за минувшее лето — а кто скажет всё горькое миру юристско-коммерционному? Ни его сыны того не говорят, ни, тем более, приезжие.

В эту осень как-то ещё так особенно горько складывались все радио-известия — а я слушал их каждый день, и «Голос Америки» и Би-би-си, — распалили меня вмешаться, сказать! Что текло из Америки — скорей свидетельствовало: ничто не сдвинулось, и так же продолжали они сдавать коммунизму мировые позиции и лебезить. После отставки Шлессинджера (оставшегося в моей памяти своим благородным видом и крепким рукопожатием) и нового служебного торжества Киссинджера — я не выдержал и сделал уже совсем политический шаг, которого не следовало, — написал статью в «Нью-Йорк таймс» (1 декабря 1975)*. Это была, от моего темперамента, грубая ошибка, слишком прямой отзыв на американские дела, и тон слишком резкий.

Поспешно казалось мне, что в Америке мои речи несколько не помогли, — и я распался к новым, теперь уже в Европе. Особенно мучительно я пережил в эту осень растянувшиеся рыдания общественной Европы над приговором нескольким испанским террористам-убийцам, и как мучительно-трогательно с ними прощались родственники, и лицемерное поведение всех европейских правительств, но особенно, особенно английского, — подхватились грозно защищать права и свободу там, где им менее всего угрозы и где не опасно защищать, — тогда как в сторону СССР они смотрели только от наклонённой спины.

И особенно было жаль — Испанию! С Испанией сроднено было сердце ещё с университетских лет, когда мы рвались попасть на её гражданскую войну — с республиканской стороны, конечно, — и без заучки впитывали все эти Уэски, Теруэли и Гвадалахары роднее собственного русского, по юному безумию забыв пролитое рядом тут, в самом нашем Ростове или Новочеркасске. С годами, уже в тюрьме, пришло другое понимание: что Франко предпринял героическую и великанскую попытку спасти свою страну от государственного распада. С таким пониманием пришло и удивление: что разложение-то вокруг идёт полным ходом, а Франко сумел тактически-твёрдо провести Испанию мимо Мировой войны, не вмешавшись, и вот уже 20, 30, 35 лет продержал её на христианской стороне против всех развальных законов истории! Однако, вот, на 37-м году правления он умирал и вот умер, под развязный свист европейских социалистов, радикалов, либералов.

Испанию быстро растрясало, и все в Европе, кому не лень, травили её. И злее всех — английские лейбористы. И ещё отдельно жалко мне было молодого испанского короля, вот усаженного на возобновлённый неуверенный престол, с неуверенными руками на руле, явно не определившего, сколько ж надо уступать, а сколько держаться.

И выхаживая по долгой веранде Хольцнахта (хорошо выкладывается возбуждение, такую же длинную решил построить себе и в Вермонте), я почувствовал, что так просто уйти в «Красное Колесо» не могу, не удастся. Что как бы ни свистели все «Монды» и левее их — надо поехать в Испанию и открыто поддержать те силы, какие ещё хранили её, — да ведь и рядом с разломанной Португалией. Просто — русский был долг.

* «Публицистика», т. 2, стр. 311 — 314.

А ещё почувствовал — что не могу не поехать в Англию. Уезжая из Европы, уж теперь-то, верно, навсегда (после Америки когда-нибудь — сразу назад в Россию), — я не мог подавить жажду: поехать в Англию и высказать многое — за новое, за старое.

Правда, я уже разочаровался, я перестал верить в возможность живого убеждения и передачи опыта на словах. Ещё нобелевскую лекцию я строил на этом убеждении, и мне казалось, что даже при неназванных собственных именах всё будет воспринято. Теперь я усумнился, что литература может помочь осознать чужой опыт. Видимо, каждой нации (как и каждому человеку) суждено пройти весь путь ошибок и мучений — с начала до конца. Но я уже просто для себя, для разрядки темперамента, не мог отказаться от того, чтобы не выговориться в Англии и в Испании.

На Западе я покинул всякие заботы о тактике, которую так рассчитывал в Союзе, тут пренебрегал, кому что не понравится (не представлял, насколько густо тут скоро сдвинутся противники), — а только бы высказаться вволю!

Лишь в конце ноября вернулся домой. (Игнат больше двух часов неотрывно стоял у окна, чтобы первому оповестить братьев. Я сел за обеденный стол — Игнат пришел, сел рядом и молча смотрел, как я ем.) Зимы в этом году у меня как и не было, уже потерял покой, места нет — и работа серьезная не пошла. Только очень стало ясно, что умирают уже немногие старики, свидетели революции, и вот последний момент, когда ещё можно воззвать к ним писать воспоминания. И я написал обращение*. А — каков же обратный адрес? Не Цюрих же, уезжаем. Придумали, хотя странно выглядело: просить присылать в эмигрантские газеты, кто на каком континенте, а те нам позже перешлют.

А уже и с радио «Свобода» наслали мне пачки тех заветных передач «Два тридцать ночи», которые я так хитроумно и сложно собирался добывать, через Бетту, в СССР. И вот скрипты тяготеют — доступно на полках моих, — а мне и сесте за них некогда, всё раздёргано, всё куда-то надо гнать.

Конечно, гебистские провокации не отпилили, вот получаем сведение: пушено по пражскому самиздату письмо от какого-то чешского журналиста из Женева якобы своему другу в Стокгольм: будто виделся со мной, и я предупреждал чехов, что Дубчек — честолюбивый карьерист и неспособный политик, надо не доверять ему и изолировать его!

Но где-то есть предел, за которым уже перестаёшь ощущать все эти прилипы, укусы, подлоги. И уже я — набираю метеорной скорости для прощальной спирали по Европе. В тот февраль я задумал поехать выступить ещё и в Италии — такой у меня был разгон. Но — никак не хватило времени, уже коротки были европейские сроки для всех подготовок, разборок, рассвобождений, всё увеличивался неразобранный архив. В Италию — не поехали.

А Франция была по пути, как ни ехать, всё через неё. И Франция шла первой в печатании моих книг. И под Новый год Никита Струве уговорил меня ещё в Цюрихе дать интервью журналу «Пуэн». Дал**.

Желая иметь преимущество наблюдать за страной, а не чтоб она наблюдала за мною через корреспондентов и фотографов, я подготовил поездку в Англию без огласки: через одного лишь Яниса Сапиета, из Би-би-си, уже знакомого мне и по первому дню моей высылки; латышский эмигрант (мать — русская из Новгорода), протестантский пастор, с безупречным русским языком и очень сочувственный также и к русским проблемам (из тех немногих, кто понимает, что коммунизм и русские — разные понятия). Он искал нам с Алей и приют, где жить, и вёл переговоры с известным телекомментатором Майклом Чарлтоном об интервью, и постепенно расширял круг возможных дел и встреч. Что очень хотелось включить — автомобильную поездку по Шотлан-

* «Публицистика», т. 2, стр. 315 — 317.

** Там же, стр. 318 — 329.

дии, какая-то всегда была любовь, уважение к самому этому звучанию — Шотландия. Но — опять не хватало дней, и, значит, уже никогда не хватит.

С пересадкой в Париже помог нам Никита Струве (мы, конечно, всё поездами). Ла-Манш переезжали паромом на воздушной подушке — стремительное современное чудовище, сказочно, когда, гудя, наползает на берег и бока его опадают. Мы всё думали, как бы из поезда от Парижа до Лондона не вылезать, — нет, не получилось ни туда, ни обратно, железнодорожные паромы уже не ходят. Значит — сплошные пересадки и перетаск чемоданов.

Что значит — *свой* Диккенс! С первых же английских лиц на таможне, потом в автобусе, на дуврском вокзальчике, в поезде до Лондона, на Черинг-кросс, где нас встречал Сапиев: какие характерные, круто вылепленные, до чего ж индивидуальные лица! — но почти всех мы их, кажется, знаем по Диккенсу, самые удивительные из них — лишь только напоминание: да, да, и тебя встречали! И по виду каждого мы угадываем, что он мог бы сейчас пошутить. И как знакомый узнаём потемневший, запущенный дуврский вокзальчик, и кондуктора в поезде, и выходного вокзального, проверяющего билеты, и через стёкла автомобиля быстро называемые Сапием места: Трафальгарский сквер, Букингемский дворец (только голову кружит от левого движения). Мы скрываемся в Виндзор. Но и там, в гостинице (окно на Темзу, плавают утки и лебеди, а на том берегу — гребные эллинги Итона), — опять «знакомы» все служащие и эта трогательная престарелая перекосяченная мебель в номере, неуклюжий шкаф, комод, а до зеркала никому не дотянуться, всегда везде не слишком тепло, не слишком чисто, в кране нельзя получить смешанной тёплой воды, а не удивительно, если горячая и не идёт, и ещё предстоит потом видеть холодные неотапливаемые усадьбы (впечатление, что в Англии всегда не хватает угля и дров), — как будто нарочно неуютно устроились они в сырой стране, но вот это всё и трогает к ним сочувствием. Как будто оказываются они дома гораздо беззащитней и добродушней, чем выступают перед лицом мира и на сцене истории.

В этом раздвоении я брожу по Виндзору, гуляю вдоль Темзы, готовя ещё новое, добавленное: выступление по радио, кроме телевидения. Везде мы не называясь или очень по доверенности: смотрим ли древнюю Итонскую библиотеку (в колледже каникулы); мемориал принца Альберта с достойной уходящей надписью (из апостола Павла): «I have fought the good fight. I have finished my course», — хотел бы и я смочь сказать так в конце жизни; смотрим ли сам Виндзорский замок, те крылья, куда пускают; или катим в Оксфорд, встречаться с моим заветным переводчиком Гарри Виллетсом, или в Кембридж — с дочерью Гучкова.

Гарри Виллетс (он не выносит писать письма, и мы по письмам почти не были знакомы) произвёл на меня обаятельное впечатление: такой теплодушный и такой даже русский — от многолетних усердных занятий русской темой, и жена из России. Он — редкий переводчик не только по своему таланту, но по беззаветному отношению к переводческому долгу: перестаёт ощущать перевод как вид заработка — а разделяет со-авторскую ответственность, ему невыносимо выпустить перевод не в лучшем виде, он с авторскими мучениями долго доискивается последних слов. От этого — работа его медленна, переводы затягиваются невыносимо, издательства раздражаются. Но — зато какой перевод!

Итак, мы ездим-бродим по Англии — и я в раздвоении, потому что с удивлением открываю: вот эту Англию, которую вижу сейчас, я, оказывается, всегда любил и даже узнаю? И это тянет меня смягчить все мои гневные упрёки, приготовленные жёсткие приговоры, — но я не могу не отвращаться от той жестокой напыщенной Великобритании на исторической сцене. Той — я должен высказать всё несмягчённо, как ей, может быть, не говорили, — да ведь то самое нужно и *этой*.

В первое же воскресенье, 22 февраля, мы поехали в чьё-то загородное имение, и там было телевизионное интервью с Чарлтоном, так прокатившееся потом по Англии и даже по Штатам*. Но показывать его должны были лишь в следующее воскресенье, и так мы ещё продолжали неразоблачённо тихо жить в Виндзоре, где я доканчивал готовить радиовыступление, потом так же тихо переехали в Лондон. Здесь в один день я выпалил и радио-беседу (может быть, из лучшего, что мне в публицистике удалось)**, и разоблачительно-убеждающую и бесполезную встречу с руководством восточноевропейского сектора Би-би-си***. (Да разве мыслимо передать им всё подсоветское беспомощное изнурение от журчливых и пустословных успокоений их комментатора А. М. Гольдберга, по любым безнадежным переговорам обнадёживающего, что будет хороший конец, советские представители вытянули чистые носовые платки — доброе предзнаменование! и этот же нескончаемый Гольдберг берётся комментировать книги, кинофильмы, художественные выставки, — и та же паточная оскомина.) Ещё мы пошли в парламент, посидели на хорах (запомнились театральные всплески удивления, возмущения, деланный хохот оппозиции и развязно-сонные вытянутые лейбористы-заднескамеечники с пренебрежением к этому учреждению, а властный спикер уже не на мешке с шерстью, но ещё в парике). Ещё через день — интервью о «Ленине в Цюрихе» для телевидения же (чёткий умный интервьюер Роберт Робинсон, дельные вопросы)****. Наговорился, больше некуда. Два дня нам с Алей оставалось на беготню по Лондону, по галереям, по театрам (невозможно забыть «Генриха V» в Шекспировском с Аланом Ховардом, как и удавиться можно было от занудства в очередном боевике «Смотрите, как всё валится» Д. Осборна в Олд-Вике). И все остальные поездки и встречи были полуанонимные, nepотpeвoжeннo выполнили мы свою программу, уехали, — и лишь тогда напечатали в газетах, что я — был в Англии, и стали передавать интервью с Чарлтоном. (Через два месяца это интервью имело то последствие, что намеченный визит в Москву генерального директора Би-би-си Каррена был отменён советским Госкомитетом по телевидению: передача интервью с Солженицыным свидетельствует, что Би-би-си продолжает тактику времён холодной войны.)

В Касьянов день, 29 февраля, мы отплывали от сумрачного холмистого Дувра — было ощущение хорошо сделанного дела. И отзывы из Англии потом — подтвердили. Интервью передавались повторно, печатался текст радиовыступления повторным же тиражом — впервые в истории журнала Би-би-си («Listener»). Исключительно доброжелательно Англия приняла все мои дерзости, и даже не разгневалась, что я иронически приподнял Уганду, по истекающим последствиям, важнее Великобритании. Приняла, прислушалась — но будет ли во всём этом толк? Однако: неисправимый порок мира, отпавшего от всякого даже представления об иерархии мыслей: ничей голос, ничья сила не могут ни запомниться, ни подействовать. Всё перемелькивает и перемелькивает в новое разнообразие. Калейдоскоп.

Хорошей упругостью я был тогда заряжен. Немало выступив в Англии, я на другой же день в Париже начинал опять как свежий. И про себя-то зная свой скорый отъезд в Америку и прощанье — принимал и принимал, какие заявки ни были, — японское ли телевидение*****, «Интернэшнл геральд трибюн» совместно с «Нью-Йорк таймс», или «Франс суар»*****.

Мне в то время казалось, что я довольно разнообразно говорю, каждый раз как будто что-то новое. Недавно, уже после Гарвардской речи, пришлось послушать те плёнки — и я изумился: ведь *одно и то же!* решительно одно и

* «Публицистика», т. 2, стр. 330 — 345.

** «Публицистика», т. 1, стр. 284 — 297.

*** «Публицистика», т. 2, стр. 354 — 365.

**** Там же, стр. 346 — 353.

***** Там же, стр. 367 — 382.

***** Там же, стр. 408 — 416.

то же я повторяю на все лады, на все лады все эти годы, во всех странах, всем корреспондентам. Говори-говори! полная свобода! Сказанное месяц назад — уже забыто. Ах, политическая публицистика сама вгоняет в эту карусель. (Впрочем, Наполеон говорил: «После пушек самое сильное средство — повторение».)

Конечно, и в Париже было устроено выступление по телевидению. И задумано очень хорошо: зрители смотрят фильм «Иван Денисович», а потом я отвечаю на телефонные звонки со всей Франции. Необычно, ответственно, я очень готовился и волновался. Но организаторы сумели всё сильно смешать: рядом посадили поверхностного и равнодушного комментатора (я думал — буду смотреть в объектив и никто не будет вмешиваться); он задавал от себя размазанные, вялые, неинтересные вопросы, когда телефоны разрывались самыми острыми. Сбил всё настроение, а потом стеснились телефонные вопросы — а времени не хватило*. Остался я недоволен этим выступлением. Впрочем, отклики печати почти сплошь были весьма благоприятны, «Монд» сдерживала ярость ко мне, а советское посольство вручило формальный протест французскому правительству. Среди этой публицистической скачки один денёк отвлёк душу в литературном интервью с Н. Струве**.

Итак, прощай, Париж. А теперь в испанскую поездку надо опять — оторваться незаметно (приехал за мною неизменный, верный, находчивый В. С. Банкул), теперь ехать дальше как можно долее анонимно, нигде не открывая следов. Ещё долгий кусок по Франции, а тут меня только что много показывали, трудно не узнать.

Сколько уж, кажется, я Францию видел, а — всё новое, всё новое глазу, и пластами нагромодились века, короли, полководцы. Замки, замки — Амбуазский, Шверни, Шамборский. Анжуйские графы, предшественники Плантагенетов. Здесь комната Генриха II, там сундук Генриха IV, здесь родился и умер Карл VIII. И неужели все эти замки (иные — даже во Французскую революцию не конфискованные, отстояли себя, собравши верных) ещё будут инвентаризовать коммунисты, которых многие французы не первый раз ожидают ко власти?

А совсем особое чувство — вступить не в поражающие эти замки, но в скромный частный дом великого человека: дом Леонардо да Винчи в Амбуазе, всего-то двух его последних лет жизни, когда пригласил старика на покой Франциск I. Ходить по коротким этим аллеям, застыть на мшистом мостике через ручей, и тщетно пытаться перенять его мысли, настроения, опасения — что при жизни равняло со всеми его, ни с кем несравненного. С поколениями, с веками сколько ж вырастает сочувственников этим всегда одиноким людям, как мы готовы их защищать, поддержать через слой времён, — но нет им нашего заслона в их горькие годы, а современники предпочитают ненависть, преследования, клевету.

Сколько угодно можно слышать о гениальности изобретений Леонардо, но вполне поразиться можно только — пройдя все восстановленные его модели. Почти автомобиль. Почти танк (от ручной тяги). Крыло для человека. Геликоптер. Самолёт без мотора. Парашют. Камнёт. Самонакатные пушки. Почти зенитная пушка. Счётчик пути. Подшипники. Зажимной ключ. Пресс для печати. Водяная турбина. Гигрометр. Ветрометр. Воздушное охлаждение для дома в жару! И всё это — с XV на XVI век!

А в других комнатах — Джиоконда, автопортрет со струящейся бородой, очаровательные бабёшки, мальчишки. И из его сочинений: «В юности целомудрие — в старости разум». «Не предвидеть — уже стонать».

От Биаррица до Сан-Себастьяна попали мы в полосу шторма: тряслись вывески, падали телевизионные антенны, срывало и несло дорожные указатели, рвало провода, по набережным ветер гнал струи воды, наш автомобиль

* «Публицистика», т. 2, стр. 383 — 407.

** Там же, стр. 417 — 448.

толкало порывами, клочья пены неслись сюда как крупные насекомые, под маяком взрывались белые протуберанцы брызг. Всё это, да с чёрным небом, подходило к тому настроению, как я въезжал в Испанию: так и мнилось, что она вступала в свои последние сроки. И в Сан-Себастьяне из-за наводнения были толпы, запреты движения, полиция — так и казалось, что опять очередной конфликт в Басконии, что-нибудь вытворили баски-террористы? В Испанию я въезжал слишком неравнодушно: «любимая война» нашей юности сроднила нас до ответственности, хотя и переполусованной за столько лет с тех пор. Я ехал не посмотреть, но помочь, сколько могу, как своей бы родине.

А навстречу неслись наблюдения, какие, может, и по книгам можно составить, но для меня новы. Общее впечатление: бедность, какой в Европе не ожидаешь, ещё эта — красноватая неплодородная кастильская земля. Местами что-то кавказское: на бесплодной горе — черепичные крыши, как сакли. Вьючные ослы. Даже в Бургосе — грязные пустыри, и на них играют черномазые ребятишки. Этот католический центр в самые грозные дни войны был прибежищем Франко. Сегодня, в субботу, в церквах — немногие, почти только пожилые. А развязные девушки курят в кафетериях, парни горланят песни на улицах, — не знали они той гражданской войны и что им память её! С большого книжного прилавка на улице бойко торгуют, идут — детективы. — Такие редкие сёла на неплодородии, а хуторов и вовсе почти нет. Но въезжаешь в Вальядолид — семиэтажные здания, ущелья улиц. В воскресенье утром по улице идёт группа ново-молодых людей в бело-чёрных шарфах, с дерзкими трубными звуками и плакатом — неизвестно кому что доказывают. А в храме — не без ребятишек, и молятся на каменном полу, и тянутся положить сбор. В притворе — много нищих, как бывало и у нас (одна из многих черт, странно сближающих Испанию с Россией, значит и то, что — подают). А на стене собора снаружи: «Хозе Антонио Примо де Ривера — жив!», копятя политические потенциалы. — Благоговейно окунаешься в дом Сервантеса. Ещё одна мне близость, и какая: через плен, рабство. — И почти сразу — Саламанка, неповторимого тёпло-золотого камня, да ещё в солнечный день. (В противность англичанам в воскресенье все испанцы — на улице, тоже русская черта. И — семячки!) У церкви Вера Крус: «Павшим за Бога и за Испанию!» На стене старого собора — снова (да места всё франкистские): «Хозе Антонио Примо де Ривера!» — и десять миртовых венков. «Король, мир и демократия — наследство Франко». — Неподражаемая средневековая Авила, сколько же можно втиснуть внутри городской стены! — И опять до перевала почти пустыня. На голом пейзаже особенно мучительно выпячивают рекламы, вот эта, по всей Испании — реклама автомобильных покрышек, но такой отчаянный взлёт руки и рот разверстый — как будто сама Испания кричит, уже ни на что не надеясь, — и никто в мире не слышит её. За перевалом — цветущий нежно-лиловый миндаль, кипарисы, густоветвенные круглые оливы, виноградники, и снуют на осликах с бутылками в корзинах, со выюками (точно как Санчо Панса), и слышится хриплая крикливая речь.

Толедский Алькасар, поэма и легенда той войны! полковник Москардо и пожертвованный им сын, образ из «Илиады». (Красные позвонили полковнику в крепость: «убьём твоего сына». — «Передайте ему трубку. Да здравствует Испания, сынок!») Семьдесят дней обороны, меньше литра воды на человека в день, двухсотграммовый хлебец — и защитникам, и роженицам в тёмных подвалах, атаки, атаки, осада, артиллерийские обстрелы на уничтожение, сшиблены башни, порушены стены, подкопы, подрывы, сровнены стены с землёю, обливание осаждённых огнём, подготовка потопа на них, — все эти республиканские методы выстояны героями (и добережено полтысячи женщин и детей). «Сделали из Алькасара символ свободы отечества». — Даже в нашу республиканскую юность вошёл этот замок как предмет восхищения. А сейчас ходишь по его коридорам (всё отстроено вновь), по сырым тёмным подвалам, мимо алтарика Девы Марии, — Господи! да ведь и у нас Владимирское училище билось с большевиками, новочеркасские юнкера освобождали

Ростов, — а всё прошло впустую. Всё-таки сами мы, сами делаем свою историю, не на кого валить.

Испанию — любят европейские туристы, но она — совсем даже и не стараётся показывать себя туристам, как Италия. Рядом со знаменитыми памятниками — развалины, битые кирпичи, нищета. Все строительные работы — вручную, без кранов. Обшарпанность поселковых стен. Пахота на медленных мулах, и в большеколёсой арбе — мул. Менее всех в Европе Испания захвачена потребительским обществом. У самой автомобильной дороги на земле расселась компания крестьян — и степенно ест, ну Россия! Совсем не похожи внешне, а как неожиданны сходства характеров: храбрость, открытость, неорганизованность, гостеприимство, крайность в вере и безверии. По какому-то же странному пристрастию писали наши писатели об Испании, многие так тут и не побывав и не узнав, что Гвадалквивир, который «шумит, бежит», — всего лишь (теперь) застойная речушка, она и в самой Кордове пованивает, и много выброшенной дохлой рыбы.

Андалузия — ещё одна страна. Пальмы в пышном разбросе. Миртовый кустарник. Городские крохотные внутренние дворики с апельсиновыми деревьями, цветами и птичками в клетках, перечеркивающими над головами прохожих, когда всю ширину улицы можно достичь расставленными локтями. Грязь и живость народной Севильи за рекою. Старую Малагу рушат, чтобы строить небоскрёбные коробки для туристов. Все аллеи и набережные изгажены автомобильными стадами. Вдоль дорог — агавы и кактусы, запылённые как бурьян; или светлые иво-лиственные эвкалипты; расставлены амфоры с винными рекламами. От города к городу — старые мечети, замки и дворцы, более всего поражающие в Кордове и Гранаде, — высота и тонкость тогдашнего исламского мира, вряд ли где живущая сегодня. Мелодия стен и эротика обстановки. Золотистые росписи на потолках, невесомые резные арки. Лес порфирных, яшмовых, мраморных колонн в кордовской мечети, когда-то мирно разделённой с христианами. Редко где, как в этих арабских древностях, ощутишь, как все мы переходящи и обречены.

Восемь дней скользили мы по Испании совсем неведомой, никому не интересные, да здесь и имя моё слышали мало. (Удивительно: узнавали иногда — солдаты.) Убийственно небрежные и даже анекдотические переводы на много лет закрыли мне влияние в испанском мире. Но на конец нашей поездки уже было сговорено выступление по испанскому телевидению, и все дни, что я смотрел Испанию, я ехал к нему. Всё увиденное только ещё усилило во мне острое сочувствие к этой стране. Все дни во мне складывалось: что же, самое краткое, я должен им сказать. Из истории, конечно: что это значит — быть захваченными фанатической идеологией, как мы, советские, и пусть поймут они, какой страшный жребий их миновал в 1939. Бессердечная земная вера социализма прежде всего пренебрегает своею собственной страной. И сколько ни пролилось испанской крови в гражданскую войну — отдали бы они ещё двадцатеро, если бы победили красные. И то, что стояло у них эти 37 лет, — это не диктатура. Я, знающий, оттуда, — могу рассказать им, что такое диктатура, что такое коммунизм и гонение на религию, — я полезнейший для них свидетель. И — прямо о терроре, который сотрясает их сегодня, но эти террористы — не герои и даже не люди. (И — как русское образованное общество заплатило за своё восхищение террором.) И сегодня — новый мираж навяли на Испанию: как бы поскорей, завтра, установить «полноценную демократию». Ах, как надо бы испанскому образованному обществу быть и подальшевиднее, и продумать: сумеют ли они послезавтра эту незрелую демократию отстоять против своих террористов и советских танков.

19 марта в мадридскую гостиницу вместе с переводчиком Габриэлем Амиамой (бывшим испанским ребёнком, «спасённым» в СССР и хорошо отдававшим коммунизма) к нам приехал преуспевающий, весёлый, лёгкий как торе-ро, небольшого роста, худощавый, очень уверенный в себе Хозе Иниго, один из здешних теле-радио-боссов. Никакая проблема с организацией передачи,

одновременным переводом (которого у них никогда и не делали) не казалась ему трудной — и он смело назначал мне приезд в студию за 15 минут до начала передачи. Я даже не успел разобраться, что ж это будет за передача, но в общем я буду говорить в микрофон, прямо всей Испании, что хочу, — 20 минут? Хорошо. Полчаса? Хорошо. Можно и больше. Настолько не было проблем, что оставалось попросить его о какой-нибудь забаве: например, нельзя ли поехать на бой быков? (Ну как же в Испании побывать — и не повидать?) Везде мы не попадали, слишком ещё рано, весна. Но тут оказалось, что как раз сегодня — открытие сезона, правда, тореро — молодые, второстепенный бой. Охотно! Ртутный Иниго умчался. Снова примчался, повёз. Всюду и везде его узнавали и приветствовали, полицейские отдавали честь — да, кажется, любимец Испании.

Бой быков — не очаровал, не убедил, нет, это скорее *забой* быков, как это мы, остальные, и представляем издали. Рискуют бандерильеро, с маленькими пиками, это производит впечатление. Но ужасны массивные тупые пикадоры, которые искалывают быка большими пиками, сами почти в безопасности, мясники. А для быка, вольно выросшего на поле, — всё неожиданно, в первый раз, всё враждебно, обилие кричащих людей, все, что появляются, — или колют или дразнят, а сами прячутся за загородки. Сперва бык избегает арену, а к тореро, к последнему врагу, — уже пена на губах, убыло сил, убыло крови, иной ещё отчаянно борется, другой хотел бы лишь, чтоб отпустили. Не-испанец скорее всего становится на сторону быка. Хотя, нет слов: тореро и рискует, и храбр, и ловкий воин.

Когда тореро убьёт быка красиво — ему отсекают бычье ухо или хвост, а он может подарить даме сердца или почётному гостю. Мне шепнули, что тореро Гарбанфито сейчас намерен дарить мне ухо (знали, что я здесь). Я смутился и не дожидаясь сбежал.

На следующее утро повезли нас через мадридский Университетский городок (так памятный с 1937, а сейчас тут уже никаких следов окопов не найти) — к Эскориалу, в Долину Мёртвых: где под единым торжественным храмом похоронены многие жертвы гражданской войны, без различия, с какой стороны воевали, — и над ними равно служатся регулярные мессы. (Сегодня служилась ещё особая: пять месяцев от смерти генерала Франко. Огромный храм был полон.)

Вот это равенство сторон, равенство павших перед Богом — поразило меня: что значит, что в войне победила сторона христианская! А у нас как победила сатанинская — так другую топчут и оплёвывают все 60 лет, кто у нас заикнётся о равенстве хотя бы мёртвых?! Я это тоже взял в своё телевыступление.

Оно произошло поздно вечером, уже к полуночи. Приехали мы раньше, чем назначил Иниго, а выступление отодвинули ещё минут на сорок, но это ничему не помогло: оказывается, никто не был готов ни к какому одновременному переводу, стали наспех тянуть линию от выступающего в закуток к переводчику, проходящие цепляли за этот провод ногами, он рвался, в некоторые минуты переводчик Амиама совсем переставал меня слышать, и тогда он напрягал память, вспоминал, как мы с ним толковали в гостинице, и говорил что-то приблизительное, а может быть и другое совсем. И всё это — тоже была Испания! Ожидалось от Иниго несколько вопросов, но он только представил меня, задал один-два, смолк, отодвинулся, — не дождался я от него никакого развития к главному, а при полупотушенных огнях (в огромном холле со зрителями) остался наедине с объективами, с самой Испанией, — и минут сорок говорил от души*. А передача оказалась — поздневечерняя субботняя, самая легкомысленно-развлекательная, какую можно придумать, выступление моё туда никак не шло, но зато её и смотрел весь простой народ. (А образованные, и все либералы и социалисты пропустили; потом, рассказывали мне, друг другу звонили, включали и чертыхались. Разозлились безмерно: кого

* «Публицистика», т. 2, стр. 449 — 459.

поучать? Нас, социалистов? Нас, испанцев?) Шёл я от микрофонов — концерт продолжался, и на пути стояла готовая к следующему выступлению легкомысленно одетая артисточка, которая тут меня и поцеловала в благодарность, и оказалось, что она — русская.

Уж как разгонишься — силы немеряные. Было начало первого ночи — я тут же, в одной из комнат, охрипшим голосом дал пресс-конференцию, набралось корреспондентов, уже слышали они меня, оттого был наскок. Поговорили. (Тут и о Набокове*.)

В воскресенье утром довольно рано мы с Банкулом уезжали (в гостинице было отмечено его имя, не моё), выбрали по уговору отца и сына Ламсдорфов и поехали на Сарагосу, а дальше к Барселоне. Сын, Владимир, был мой лучший в Испании переводчик; отец, Григорий, — участник испанской гражданской войны (из парижской русской эмиграции едва сюда пробившийся: к франкистам трудно было попасть, не то что к республиканцам), воевал как раз по этим местам, в Арагоне, и обещал мне всю дорогу рассказывать и показывать. Проехали мы Гвадалахару, то ущелье, где знаменито бежали итальянцы, — в разгаре его поглощающего рассказа вдруг полицейская машина стала нас обгонять и указывала свернуть на обочину. Что такое? мы как будто ни в чём не провинились.

Остановились. Из полицейской машины выскочил сержант, но подошёл не с шофёрской стороны, как к нарушителям, а с правой. И спросил, тут ли едет Солженицын. Однако сразу же и узнал меня по вчерашнему, я сидел на заднем сидении, он выровнялся и с честью доложил, что Его Величество король Хуан-Карлос просит меня немедленно к нему во дворец.

Ламсдорф перевёл — и мы молчали. Звучная была минута. Так разогнались ехать! На полном ходу, из огня гражданской войны, вызывал меня на сорок лет позже король — благодарить? Или что-то ещё спросить, мнения, совета? (Вероятно, ещё ночью обзвонили гостиницы, но нигде не обнаружен. Застава же схватила по швейцарскому номеру.) Звучная была минута — и казалась длинной. Ни полицейский сержант, ни наши русские испанцы не сомневались, что мы поворачиваем. Но я ощутил мучительный перебив разгона — не только в нашем рассчитанном движении, где почти не было отложных часов, но излома и самого замысла: король — не был в замысле, я высказал вчера всё, что хотел, меня видел и слышал народ, и кипело гневом лево-образованное общество. А ехать представляться королю? Да, почётно, — но после моего вчерашнего выступления такая встреча только повредит начинающему королю в глазах его образованщины. И что ж я могу ему посоветовать, кроме сказанного этой ночью? — тормозить и тормозить развал Испании. Так и сам же догадается. Да и левым будет легче всё смазать: я уже буду не независимый свидетель Восточного мира, но креатура короля, ими оспариваемого.

И я понял, что должен делать. Открыл блокнот и стал писать по-русски, медленно и диктуя вслух, а молодой Ламсдорф в другом блокноте писал сразу по-испански, повторяя тоже вслух, — а сержант стоял навтыжку и недоуменно слушал.

...Я высоко ценю приглашение Вашего Величества... Я и принял решение приехать в Вашу страну осенью прошлого года, когда Испанию травили. Я надеюсь, что моё вчерашнее выступление поможет стойким людям Испании против натиска безответственных сил. ...Однако встреча с Вашим Величеством сейчас ослабила бы общественный эффект от вчерашнего... Я желаю Вам мужества против натиска левых сил Испании и Европы, чтоб он не нарушил плавного хода Ваших реформ. Храни Бог Испанию!..

Сержант неодобрительно берёт написанную бумагу, он всё равно не понимает, кто и как может отказаться от приглашения короля. Он просит нас ждать и идёт передавать эту бумагу по рации. Мои спутники тоже удивлены. Да и я не совсем уверен, что правильно решил. При встрече можно бы ещё и королю

* «Публицистика», т. 2, стр. 460 — 468.

прямо передать из нашего русского опыта и наши предупреждения, отчётливей. Но — какая кривогласка пойдёт, как зарычат левые, как всё исказят.

Сидим в молчании.

Минут через пятнадцать сержант возвращается торжественно:

— Его Величество желает вам счастливого пути! Никто вас больше беспокоить не будет.

Поехали. Целый день через Арагон, ещё суше и бесплодней, чем Кастилия, — и сколько же и как бились за эту голую землю. По пути обедали в сельской таверне, все простые, кто сидели за воскресными столами, узнали меня, приветствовали и соглашались, и подавальщица Роза-Лаура, совершенная мадонна, тоже. Вечером мы уже в Каталонии. Утром в Барселоне только осматриваем бриг Колумба (мне — как раз, перед отъездом в Америку) — и покидаем Испанию под брань и гнев социалистических и либеральных газет.

Снова Франция. Перпиньян. Виноделы бастуют — и замазали чёрной краской все дорожные указатели — отличное проявление свободы! Впрочем, на одном указателе («кирпиче», а поле чистое) начерчено: *Parti Communiste = Goulag*. Это — уже в Арле. О, сколько римской старины. А вот и Авиньон, папский дворец времён их пленения, девять папских портретов — да что-то холодно, жестоки. А вокруг дворца кипят туристы и попрошайничают хиппи. В Оранже — сохранившийся римский театр, полусохранный таинственная сцена, 36 крутых каменных зрительских рядов и 20-метровой высоты стена. Да, эту Францию никогда не пересмотришь...

В Цюрихе — последнее оформление американских документов на переезд всей семьи (наших всех поразило, что надо пальцы отпечатывать). Мне ехать вперёд — наконец смотреть купленный участок и дать Алёше Виноградову добро на стройку, а самому — в Гувер заниматься. А семья поедет, когда будет где жить.

А ведь в Цюрихе — уже два года мы, не шутка. Как уже отяготились, обросли хозяйством, бытом, архивом переписки, библиотекой, — и теперь что оставлять, что паковать, всю домашнюю жизнь перенести, — и всё опять на Алю.

Мои последние сборы — и 2 апреля снова скрытный отлёт. Надеюсь, в этот раз прошлогодняя осечка и моё возвращение не повторятся, с Алей прощаюсь на несколько месяцев, с Европой — очень надолго. Такая неисчерпаемая, такая укоренённая, такая многоликая, такая любимая — и столь впавшая в слабость!

В Нью-Йорке меня встречает Алёша и сразу везёт в Вермонт, на новокупленное место. Мы оба волнуемся — так ли выбрано? Случай недопустимый: место долгой, а может быть и доконечной своей жизни выбрать не самому, купить за глаза. Но в наших долгих совместных поисках предыдущего года Алёша понял, чего я ищу, и выбрал действительно отлично: в пустынном месте, вполне закрытое от дороги, со здоровым вольным лесом, с двумя проточными прудами, дом есть, только летний и мал, перестраивать и утеплять, есть и подсобных два малых домика, только слишком гористо, недостаёт полян и плоскости. Ну что ж, чего-то же русского должно не хватать. Мы насчитываем на участке пять горных ручьёв — вот и название будет Пять Ручьёв. (По-английски тоже было: Twinbrook — ручьи-близнецы.) Алёша, хотя и начинающий архитектор, но думает о священничестве, поступил в Свято-Владимирскую семинарию. Это перегружает его занятия, обязательства. Да стройка и без того затянется надолго.

А я — что ж? Мне самый теперь раз ехать в Гувер и засаживаться там в библиотеку.

Всё по-прежнему недружелюбен к самолётам, всё цепляясь за иллюзию сердечно-привычного железнодорожного сообщения, я таки удумываю ехать поездом — тут и дни, так необходимые для душевной перестройки, тут и окно в незнакомую страну. Увы, хуже, чем в Канаде: прямого трансконтинентального поезда нет, но есть два состыкованных: Бостон — Чикаго и Чикаго — Сан-Франциско, между ними два часа для пересадки. Хорошо. Нет, гораздо

хуже: прошло то время, когда мы кляли опоздания русских поездов и восхищались западной точностью. Уже на станцию, где я сажусь, поезд, едва выехав из Бостона, опаздывает на полчаса. Румэт — такой же, но грязней, чем в Канаде, и ещё с маленькой поправкой: воздушное охлаждение не работает. В наших старых поездах его сроду не было, так и чёрт с ним, можно же окна открыть. Но здесь, в замкнутом румёте без вентиляции, — душная мышеловка. Мутные стёкла, тащимся промышленными районами близ Эри, Кливленда, и я вижу, что опоздание уже более двух часов и только увеличивается. И всё путешествие становится изматыванием нервов: что же теперь делать? Теперь попадаю — в Чикаго — висеть сутки? На вокзале не удивлены, не огорчены — ну, что ж? (У них — каждый день опаздывает, а расписания не меняют.) Приходится неуклюже капитулировать: с вокзала час ехать на аэродром, там худым языком объясняться о рейсах и ещё не попасть на самый плохой — зигзагообразный и с посадками по пути.

В Пало Альто я останавливаюсь у Елены Анатольевны Пашиной. Муж её, Николай Сергеич, вот недавно горячо бравшийся мне помогать, редкий образованный представитель Второй эмиграции, нашей самой закадычной, и с живым советским опытом и русской по сердцу, — умер только что, в феврале; так и обрываются наши жизни на чужбине, хотя каждый теплит надежду, что вернётся. Е. А., сохранно-русская душой, в завет умершему мужу чудесно и тихо мне помогает: возит из своей гуверской библиотеки домой всё, что нужно, — и книги, и целые газетные подшивки. И это даёт мне возможность первые три недели из восьми вообще не открываться, что я приехал: а то руководство Гувера тоже сразу потянет на банкеты, на речи, на встречи.

Начинается упоительный двухмесячный лёт по материалам Февральской революции. Разверзаются мои глаза, как и что это было такое.

Да в Союзе — разве допустили бы меня вот так во всю ширь и глубь окунуться в Февраль?..

Э-э-э, да и слава Богу, что мне всё не удавалось начать «Март Семнадцатого». Промаяхнулся бы.

Осень 1978

ПРИЛОЖЕНИЕ

[17]

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

30 сентября 1975

За последние месяцы некоторые безответственные органы печати на Западе сфабриковали относительно меня грубые фальшивки.

Газета «Национал цайтунг» (ФРГ), журнал «Культура ди Дестра» (Италия) напечатали никогда не взятые у меня, неизвестно где, когда и кем полученные «интервью». Журнал «Дженте» пространно излагает беседу, которую я никогда не вёл. Газета «Монд» дала фальшивое сенсационное сообщение обо мне. — Все эти злостные подделки являются выдумкой от начала и до конца.

Но совпадение их во времени и направлении заставляет предположить за ними общую направляющую руку.

Я предупреждаю читателей мировой прессы против новых возможных злоупотреблений моим именем.

А. Солженицын.

(Публикация глав будет продолжена.)